С. МАРВИЧ

Сигнал бедствия

ДЕТГИЗ · 1960

Гале в
день рожде-
ния от Б[redacted]
[redacted] Натальи.
25/III-62 год.

С. МАРВИЧ

Сигнал бедствия

ПОВЕСТЬ



РИСУНКИ
Н. Кочергина

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
МОСКВА 1960

Немало книг и стихов написано и будет еще создано о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Бессмертны подвиги людей города-героя, их стойкость и мужество перед лицом смертельной опасности.

Новая повесть С. Марвича «Сигнал бедствия» посвящена борьбе ленинградцев в засланной в осажденный город агентурой врага.

В первую блокадную зиму, в условиях тяжких лишений, ленинградские судостроители начинают строить боевой корабль новой конструкции. Работа ведется в обстановке глубокой военной тайны, но о ней узнают враги. Офицер гитлеровской разведки, матерый диверсант, пробирается в город, пытается выведать тайну корабля и помешать его строительству. О том, как советские разведчики и простые советские люди срывают планы врага, о поисках и преследовании фашистского резидента и его помощников по сложным, запутанным следам и рассказывается на страницах этой повести.



ПЕРВАЯ ГЛАВА

1. Белые и синие квадраты

Верхний этаж невысокого дома подавал сигнал бедствия.

Может быть, так лишь почудилось главстаршине Белякову, когда он взглянул на дом, мимо которого проходили он и Андронов — двое патрульных?

Нет, это был сигнал бедствия — каждый моряк, даже первогодок, сумел бы прочесть его.

Зимний ветер трепал лист тонкого картона возле форточки, над которой с верхнего карниза угрожающе свешивалась, как сталактит, тяжелая льдина.

Беляков чуть помедлил. Он старался вспомнить: раскачивался ли вчера на ветру этот лист картона?

Да, вчера сигнала не было, не могло его быть.

Все эти дни Беляков в составе патруля обходил

окраинные улицы. Он внимательно присматривался ко всему на своем пути и тревожного сигнала, который в минуту бедствия поднимают на корабле, не пропустил бы.

Обычно обход заканчивался к утру. Беляков, с давних пор хорошо знавший этот приморский район Ленинграда, все не мог привыкнуть к тем переменам, которые принесли сюда война и блокада. Не узнать было улиц, где сотню лет жили судостроители.

Прежде вместе с рассветом начиналась перекличка заводских гудков.

В предрассветных сумерках над высоченными трубами взлетал легкий белый пар. Старожил мог различить в многоголосье гудков заводы и Нарвской, и далекой Выборгской, откуда доносился приглушенный расстоянием звук, и завод, стоявший на островке.

С грохотом, с бешеным звоном, разбрасывая искры и не зная остановок, мчались в депо платформы грузовых трамваев. Затем на проспекте появлялись ярко освещенные трамвайные поезда, и силуэты первых пассажиров отражались на замерзших стеклах. Окраина начинала свой день.

А теперь... Тяжело было проходить перед рассветом по пустым, замершим улицам. Но и через час, и через два часа дома будут казаться такими же необитаемыми, как сейчас. Ни в одном окне не зажжется огонь...

Рельсы лежали под горбатым пластом обледеневшего снега. Глубокая тишина владела окраинными улицами. Где-то в стороне угрюмо рокочет грузовик — видно, машина отчаянно пробивается в глубоких сугробах. Но вот и она затихла, заглох обессилевший мотор. И только порывистый ветер врывается в открытые подвалы, подворотни, свистит в разбитых водосточных трубах.

Но эта тишина ненадолго. Сегодня, как и в другие дни, ее скоро нарушат разрывы снарядов. Моряки из патруля давно уже знали, откуда и когда стреляют по городу. Орудия гитлеровцев стоят в пригородах: на Вороньей горе (с этой горы можно разглядеть Ленинград), возле станции Володарская (выйди там на берег залива — и увидишь Кронштадт). Фашисты бьют и наугад, по квадратам, и по открытым целям.

Всю ночь методично, с ровными интервалами, велась

редкая стрельба. К рассвету она затихла. Короткая передышка...

Скупо прибавлялся свет. Тени сворачивались, и вновь выступала надо льдом черная баржа. А за оградой завода можно было различить на дальнем эллинге заметенный снегом высокий корпус недостроенного корабля.

Этот район, начиная с осени, охраняли морские патрули. Круглые сутки они ходили по набережным канала, по опустевшим улицам. Так и сегодня, когда стало светать, возле узкого пешеходного моста, державшегося на тросах, показались двое патрульных с винтовками на ремне. У них были багровые от ветра лица. Воротники полушубков покрылись ледяной пленкой.

Уже не в первый раз главстаршина Беляков говорил своему спутнику о том, что ко всему можно привыкнуть, даже к тому, что письма перестали приходить. А вот эта тишина, могильная тишина на улицах угнетает его, Белякова. Но Андронов не понимал товарища — тишина как тишина.

— Над чем, собственно, тут задумываться, главстаршина, друг мой? Война принесла сюда эту беду — тишину. Разделаемся с войной — и уйдет беда. Все ясно, точка...

— Ты потому так говоришь, что впервые здесь, — возражал Беляков. — Только год, как ты Балтику и Ленинград увидел. А я на этих улицах вырос, каждый дом знаю. Вон у того забора дрался с мальчишками. Лютые бои бывали... У того подъезда страдал, ох, и страдал же! Проводишь ее и не уходишь домой, стоишь... Подальше, видишь, крыша снесена? Это была наша школа. Куда ни посмотришь — все жило, кипело здесь...

— Может быть, может быть, главстаршина.

— Да нет! — с досадой сказал Беляков. — Ты пойми, почувствуй это!

Когда час-другой походишь с поднятым воротником полушубка, становится душно. Пусть колючий ветер, пусть мокрый снег, пусть метель, а хочется на минуту опустить меховой воротник, вздохнуть поглубже. Беляков так и сделал. Он смахнул с ресниц иней, расправил плечи, огляделся.

Они поднялись на пешеходный мост. И тогда глав-

старшина увидел раскачивавшийся на ветру тонкий лист картона. Они перешли мост.

Беляков остановился и тронул спутника за рукав:

— Посмотри...

— Смотрю...

— И что видишь?

— Непонятно. Совсем непонятно... — Андронов также опустил воротник полушубка.

— Почему — непонятно? Похоже на флаг.

— Давай-ка поближе!

Они стали возле дома.

— Слушай, Алексей, было это вчера? — Беляков проверял себя.

— Нет, не было. Твердо помню.

— Гляди внимательнее. Что видишь?

— Квадраты, — почему-то тихо ответил Андронов.

— Сигнал это! Понимаешь?

— А ведь верно! Похоже...

Лист тонкого картона, трепетавший на ветру, был испещрен большими белыми и синими квадратами.

Теперь Беляков уже не чувствовал ни ветра, ни мороза и говорил возбужденно:

— В море такой сигнал поднимают, когда бедствие. А здесь? С кем-то, значит, беда!

Андронову подумалось: может быть, там, в верхнем этаже, лежит обессилевший, одинокий человек, к которому никто не заходит. И он вывесил разлинованный на квадраты картонный лист. Помощь зовет... Но такую беду найдешь сейчас в каждом доме осажденного города. И чем тут может помочь морской патруль? Ему поручено совсем другое... Тут помогают комсомольцы из добровольных бригад. Эти ребята, такие же голодные, как другие, но понапористее, бегали по темным лестницам, входили в промерзшие квартиры, навещали, ободряли ослабевших, помогали как могли — приносили воду, пайковый хлеб, растапливали печурку, добывали лекарство, приводили врача.

Не к ним ли обращен сигнал? Но они не поймут его. Прочтет только моряк.

— Но, может, это не всерьез? — медленно проговорил Андронов.

— Не всерьез сейчас ничего не бывает... И видишь, что еще висит?

— А это зачем?

— Вот именно — зачем?

Они увидели фуражку морского командира, которая, так же как и кусок картона, была прикреплена на конце оборванного провода, свисавшего из окна.

— Нет, тут неспроста, — решил Беляков. — Проверить надо. А ну, мигом!

Спустя минуту они стояли на лестничной площадке второго этажа и изо всей силы стучали в дверь, стучали и прислушивались. Никто не отзывался, никого не привлек громкий, долгий стук. Ни одна дверь не открылась на лестнице.

— Изнутри дверь, видать, не заперта, — сказал Беляков. — Давай рванем.

Они рванули изо всей силы, но дверь не поддалась.

Беляков осветил фонариком дверь и прочел на медной дощечке: «В. М. Снесарев».

— Надо разыскать кого-нибудь, — предложил Андронов. — Кого-нибудь из здешних. Должны же быть люди в доме.

— Побегу. А ты стой здесь, — произнес Беляков и быстро пошел вниз.

Андронов снял с плеча винтовку и прислонился плечом к косяку.

Беляков долго не возвращался. Андронов опять начал стучать в дверь. И снова никто не отозвался. Дом молчал. Тишина была особая, злая. И Андронов остро чувствовал это.

Вдруг ему показалось, что внизу скрипнула дверь подъезда. Будто послышались осторожные, быстрые шаги. Спустя мгновение все стихло, словно внизу кто-то притаился.

— Кто там? — гулко крикнул Андронов, перегнувшись через перила. — Отвечай! Выходи!

Он невольно вскинул винтовку. Ему не ответили.

— Почудилось, — сам себе сказал Андронов.

Но внизу что-то звякнуло о каменную плиту, и дверь громко захлопнулась.

— Стой! — крикнул Андронов уже после того, как закрылась дверь.

Он быстро сбежал по лестнице и выглянул на улицу, посмотрев в обе стороны. От дома за угол по свежему снегу вели следы. Андронов разглядел, что это были от-

печатки не военных сапог. По-видимому, человек бежал. Кто он? Беляков пошел в другую сторону, его следы другие. Андронов постоял и снова поднялся на площадку второго этажа.

Минут десять спустя снизу послышался голос Белякова:

— Андронов!

— Я!

— Подожди еще! Сейчас придем.

На этот раз Беляков вернулся скоро. С ним шли немолодая женщина, закутанная так, что не различить было лица, и девушка лет двадцати.

— Дверь с капризом, — сказала девушка, вынув из кармана ключ на тесемочке. — Надя предупреждала.

С замком пришлось повозиться.

— Не волнуйтесь, — успокаивал девушку Беляков. — Дайте-ка ключ, я попробую.

— Нет, вы не сможете. Надя мне сказала, как надо открывать, — нервно отвечала девушка.

— Какая Надя?

— Ах да, вы ведь не знаете ее... — И девушка тянула за ручку, вертела ключом в скважине.

Беляков успел сообщить Андронову, что закутанная до глаз женщина — управдом. Нашел он ее в очереди за водой, возле проруби на канале. Эта женщина сказала ему, что во втором этаже живет инженер, по фамилии Снесарев, что он лежит больной, что к нему приходит помогать девушка с завода и ключ, вероятно, у нее. И больше никого в квартире нет. Девушку она знает в лицо и по имени. Потом Беляков вместе с управдомом отправились на завод. Оказалось, что вчера девушка слегла. Ключ она передала подруге.

— Какой же это завод? — спросил Андронов.

— Судостроительный.

Дверь, наконец, открылась. Из прихожей они попали в просторную комнату. Здесь были разбиты оконные стекла и гулял ветер. На диване, запорошенном снегом, валялись игрушки.

— Сюда! Сюда!.. — торопила девушка.

Она толкнула дверь, и все вчетвером бросились к человеку, который лежал на полу возле печи, укрыв голову полушубком.

2. В глубоком сне

Снесарев не слышал, как его переносили на кровать, завертывали в два одеяла и в полушубок, как затопили печурку.

— Не умер, спит, — сказал Беляков, приложив ухо к сердцу. — Но спит как-то по-особому...

Он оглядел комнату, словно искал в ней объяснения того, что случилось.

Больного осторожно тормошили. Он глухо стонал, казалось, что вот-вот откроет глаза. Лицо его часто искажалось гримасой боли или кошмара, но он не просыпался.

— Андронов и вы, девушка, немедленно за доктором! Оба ищите! Мы побудем тут. Поскорей возвращайтесь.

Снесарев скрипел зубами, метался, невнятно бормотал что-то.

Пожилая усталая женщина, укутанная платками, сидела в полудреме возле печурки. Главстаршина внимательно глядел на спящего.

Белякову казалось, что этот человек делает огромные усилия, чтобы проснуться, но не может разорвать нити сна, опутавшие его. Да, сон странный...

Беляков отвернулся, посмотрел, как на льдинках, плотно покрывших уцелевшие в этой комнате стекла, чуть играет отраженное береговым снегом раннее солнце, и подумал вслух:

— Когда же это могло случиться? Ведь вчера я два раза проходил — утром и днем. Сигнала не было. Помню! И Андронов помнит. Зачем же он?..

— О чем вы, товарищ моряк? — Женщина у печки очнулась от полудремы и усталым движением провела по волосам. — Какой сигнал?..

Пришел доктор, старик на согнутых, дрожащих ногах, в пенсне с золотыми ободками, которое дрожало на сизом, распухшем носу. Доктор расстегнул старую, поношенную шубу, под нею виднелся белый несвежий халат. Он хотел было снять шубу, но раздумал. Взял Снесарева за руку, внимательно взглянул ему в лицо, приподнял веки.

— Усыплен, — тихо проговорил доктор. — Да, усыплен. Обычное снотворное действует слабее.

— Кто же усыпил его? — тревожно спросил Беляков.

— Тайна эта скрыта от меня. — И доктор развел руками. — Но бывают случаи, когда люди сами...

— Здесь такого не могло быть! Нелепо даже предположить это! — сердито сказала девушка.

— Вы его знаете? — спросил доктор.

— Да, знаю. Давно знаю!

— Не было ли в нем чего-нибудь такого?..

— Нет! Он хорошо держался, доктор. Он держался лучше, чем другие. Работал. А потом свалился, но духом не падал, даже шутил.

— Милая девушка, бывает, что голод ведет к психозам, и тогда человек теряет власть над собой...

— Здесь этого не могло быть. Никак не могло быть, доктор!

— Освободите ему руки.

Руки Снесарева, страшно исхудавшие, с бело-синей прозрачной кожей, бессильно легли поверх одеяла. Девушка обнажила их, осторожно закатала рукава шерстяного свитера и ночной рубашки до плеч. Снесарев приподнял голову. Всем показалось, что он сейчас откроет глаза. Но голова его тяжело упала на подушку.

Беляков шумно вздохнул.

Врач неторопливо оглядывал правую и левую руки, склонив пенсне к самой коже, и легкими движениями пальцев ощупывал ее.

— Припухлость. Видите? — обернулся он к Белякову. — След укола. Укол сделан грубо, вероятно наспех. Даже начинающая медицинская сестра сделает лучше...

— Но кто же сделал укол?

Врач пожал плечами:

— Если предположить, что он сам...

— Но нельзя же, доктор, думать, что он сам себе укол сделал, а потом вывесил сигнал и фуражку.

— Какой сигнал?

— Да вот, за окном... Белые и синие квадраты на листе картона — это сигнал бедствия. Мы по сигналу и пришли сюда, товарищ врач.

— Вы уверены, что это сигнал?

— Как же! Точно, товарищ врач! — Беляков говорил убежденно. — Каждый военмор поймет его. И еще морская фуражка на проволоке. Ее он вывесил, чтобы понятнее было.

— А все-таки ищите, товарищи военморы, шприц... — сказал доктор.

Андронов и Беляков стали усердно шарить по углам комнаты.

— Припухлость свежая, — продолжал доктор. — Укол сделан недавно. Если шприца здесь нет, значит, его унесли. Да-а... Пожалуй, тут действовала чужая рука: укол на правой стороне у самого плеча. Слабому человеку самому не дотянуться туда, да и трудно упереть иглу так, чтобы она не соскользнула. Нет, он не сам. А средство, вероятно, очень сильное...

Девушка тревожно спросила:

— А он... проснется?

Снесарев проснулся через полчаса. Он обвел комнату блуждающим взглядом, немного задерживая взгляд на каждом, и медленно, едва слышным голосом спросил:

— Где Надя? Она здесь или...

Девушка наклонилась над ним и, как-то по-детски всхлипнув, быстро заговорила:

— Василий Мироныч, голубчик! Это я, Галя.

— Галя?

— Да. Помните? Из копировочной. Надина подруга. Василий Мироныч, что случилось? Моряки заметили с улицы, что висит лист...

Снесарев провел рукой по лбу. Его голос стал громче, а взгляд беспокойным, озабоченным.

— Я спрашиваю, где Надя?

— Надя вчера слегла. Она мне поручила прийти к вам сегодня. Я хотела к двенадцати, но задержалась, и вот...

— Где Надя? Отвечайте толком.

— Лежит на заводе. У нас там комната для больных. А это я — Галя...

— Лежит? Она не выйдет сегодня с завода?

— Сегодня не сможет. Вы не беспокойтесь, Василий Мироныч...

— Погодите, погодите! Вот что: скажите ей, обязательно передайте, чтобы никуда не выходила с завода, пока не...

— Да нет же, она никуда не пойдет! Она мне поручила... Ведь у нее температура.

— Передайте сейчас же, черт возьми! Не лопочите, а слушайте! Температура! Она и с температурой уйдет. Я не буду спокоен... Идите! Идите!

Снесарев нетерпеливо приподнялся с подушек.

— Вас двое? — обратился он к морякам. — Оружие есть?.. Патрульные, да?.. Пусть один проводит ее на завод и сразу же назад. Так вернее будет, а то... Кто знает, не бродит ли он поблизости. Ведь он был здесь.

— Кто? — почти крикнул Беляков.

— Сейчас, сейчас... Я скажу...

В дверях Галя обернулась:

— Что еще передать Наде, Василий Мироныч?

— Пусть никуда не выходит! Только это. И что со мной все благополучно. Да не мешкайте! — прикрикнул Снесарев. — Идите!..

У него едва не сорвалось резкое слово.

Сознание полностью вернулось к Снесареву. В голове прояснилось. Он вспомнил отчетливо, до последней мелочи вспомнил все, что произошло вчера вечером в этой комнате.

— Доктор, — позвал он, — я уже совершенно здоров, и мне необходимо поговорить с товарищем моряком.

— Ну, для того чтобы вы были здоровы, надо еще многое сделать. Лежите спокойно. Для вас это главное. Берегите силы, не двигайтесь.

— Да, надо многое сделать, но совсем другое. Надо выяснить. И как можно скорее... Попрошу, доктор, оставьте нас наедине — меня с этим товарищем. Не обижайтесь, пожалуйста, дело военное... И вас прошу... — Снесарев обратился к закутанной женщине, все еще дремавшей у печурки.

Врач и женщина вышли.

У постели сидел крепкий, широколицый моряк. Ему лет двадцать пять. Снесарев встречал таких среди патрульных, которые ходят по улицам возле завода. Может быть, и этого встречал.

— Товарищ...

— Беляков.

— Товарищ Беляков, вот что... Не знаю, как и сказать.

— Слушаю, слушаю вас, товарищ Снесарев. Говорите! Что нужно — сделаем. Вы сигнал повесили?

— Да, я.

— Мы его заметили. Что случилось?

Снесарев испытующе посмотрел на Белякова. Поверит ли этот моряк тому, что услышит сейчас? Поверит ли,

что все это не ночной кошмар больного, ослабевшего человека? Чем доказать?

Беляков был весь внимание. Он порозовел от волнения и с полным доверием, с жгучим ожиданием глядел на Снесарева.

— Ваш товарищ вернется минут через пять — завод ведь рядом, и вы сразу должны начать действовать! Нельзя терять ни минуты...

Так Снесарев начал свой удивительный рассказ о том, что произошло здесь, в комнате.

Но когда это случилось? На этот вопрос Снесарев не мог бы ответить сам себе. Час назад или, может быть, глубокой ночью? А сейчас утро, в комнате светло. Зимой поздно светает. Когда же он был усыплен? Сколько часов проспал? Все было именно так, как он, лежа, рассказывает сейчас моряку. Но там, за чертой вражеской блокады, на земле, где не раздаются выстрелы, где живут теперь его жена и дочь, это может показаться невероятным.

Да и моряк был поражен. Он негромко сказал, выслушав Снесарева:

— Вот какие повороты бывают на войне.

Он верил Снесареву и, когда Андронов вернулся, бросился к двери, крикнув на пороге:

— Я скоро вернусь! Оставайся здесь, жди меня!

3. Голос из полутьмы

То, о чем торопливо рассказал Снесарев Белякову, случилось накануне, вечером.

Начинало темнеть. На другой стороне канала над крышами, заваленными снегом, рдела полоса заката. Она опускалась ниже и ниже. И вот уже последние лучи скользнули по черной барже, вмерзшей в лед, и лиловые тени быстро поползли по снегу.

Больной очнулся. На столе мигал крошечный светильник.

Надя, навещавшая его, ушла несколько минут назад. На столе под опрокинутым котелком лежал кусочек хлеба, а под блюдцем — квадратик сахара и подмороженная луковица. Девушка истопила печь. Миску с кашей она закутала в полушубок и поставила на стул, рядом, — стоит только протянуть руку. «Пусть Василий Мироныч не под-

нимается, — сказала на прощание Надя, — если постучат в дверь».

— Если у кого-нибудь из своих будет срочное дело к вам, Василий Мироныч, я ключ передам.

— Срочное дело? Ко мне? Теперь?.. — Снесарев устало улыбнулся.

И это не понравилось Наде. Она сухо сказала, что зайдет завтра, а сейчас ей пора.

— Вы запомнили, Василий Мироныч? Если будут стучать, не поднимайтесь, не открывайте ни в коем случае!

Все это она проговорила быстро, отрывисто, с преувеличенной деловитостью. И Василий Мироныч понял, что Надя сама смертельно устала, вероятно, больна. Ей надо бы пойти лечь, отдохнуть.

— О себе подумайте, Наденька, — сказал Снесарев.— Вы не железная...

— Ах, оставьте, Василий Мироныч! — досадливо перебила его Надя. — Мне ничего не сделается... Так будьте умницей. Не делайте лишних движений. Завтра увидимся... — Она улыбнулась: — Я не железная, верно, но пока что крепче всех на заводе. Женщины в беде всегда сильнее вас!

— Откуда эта философия?

— Не философия, а наблюдения. Они подтверждаются фактами.

— Даже так?

— Ну конечно. Из женщин мало кто слег.

Надя застегнула ватник и вышла. Он слышал, как щелкнул замок закрываемой пружиной двери.

Снесарев задумался, понеслись беспорядочные воспоминания. Потом наступило забытье. Вскоре он проснулся.

На столике у кровати сидела крыса. Блестящими глазами поглядывала на больного крупная отощавшая крыса. Снесарев уже видел ее однажды. Крыса не боялась его. Она выползала из норы, когда больной оставался один. Она понимала, что сейчас у него нет сил пошевелиться, согнать ее. Крыса обошла котелок, обнюхала и, уткнувшись в него лапами и мордой, стала двигать к краю столика. Она двигала тяжелый котелок медленно, напрягаясь всем телом. Внезапно рядом кто-то шевельнулся. Крыса спрыгнула на пол и исчезла.

Василий Мироныч почувствовал, что в комнате кто-то стоит. Человек шагнул из темной полосы от двери.

— Инженер Снесарев? — медленно спросил он и, придвинув к себе стул, сел.

Снесарев не различал его лица и в желтом свете мигалки видел только длинную меховую куртку. Он подумал, что продолжается тяжелый сон, который переходит в кошмар — такое уже бывало, — и не отвечал.

Но человек повторил:

— Василий Миронович Снесарев?

И тогда Снесарев тихо спросил:

— Кто вы?

— Вот вы и подали голос. Но кто я — неважно... Я стоял и смотрел за единоборством крысы с котелком, а вы не в силах были помешать даже ей. — Незнакомец коротко засмеялся. — Плохо ваше дело, больной. Но я смогу спасти вас. Я говорю о настоящей помощи, а не о такой... — Незнакомец отчетливо выговаривал каждую букву. Он приподнял медный котелок: — Хлеб под бронированным колпаком! Но еще минута — и крыса свалила бы колпак, унесла хлеб. Я помешал ей. Я хочу поговорить с вами о другой броне...

Снесарев пытался разглядеть лицо незнакомца, но тот все время держался в полутемной полосе. Кажется, он был высок ростом и худощав.

— Как вы вошли сюда? Кто вам дал ключ?

— Безразлично. Ключ — ерунда... Слушайте, инженер Снесарев! Будем говорить по-деловому. И от этого разговора зависит — встанете вы или нет. Но раньше исправим одну неточность. Я люблю порядок.

Незнакомец подошел к стенке и сорвал три листика календаря.

— Сегодня не 24 декабря, а 27 декабря. Девушка, что была у вас, не обращает внимания на такие мелочи, и вы тоже. Вы в той стадии истощения, когда начинается апатия. Обреченные забывают о календаре. Время для них остановилось... Вы, кажется, сказали: нет? Зачем вы спорите? Берегите силы. Так сказала эта девушка...

— Надя? — вырвалось у Снесарева.

— Да, ее зовут Надя.

— Вы ее видели?

— Лишний вопрос, инженер Василий Миронович Снесарев... Итак, сегодня 27 декабря 1941 года. Когда вы

покупали этот календарь, вам и в голову не могло прийти, что к Новому году будете умирать от голода в пустом доме, в осажденном городе. О-о! Тогда мир вам казался прочным, рядом была дорогая жена, ребенок. И вот ничего этого нет! И вы на краю смерти. И вы умрете, если я вам не помогу! Вы умный человек и понимаете, что за помощь надо платить.

Снесареву вновь казалось, что он в тяжелом забытьи, что его мучит наваждение. А незнакомец продолжал говорить. Снесарев, полузакрыв глаза, слушал. «Нет, это не кошмар!» — мелькнуло в его сознании, и он широко открыл глаза, стараясь запомнить каждое слово.

Незнакомец знает о конструкции, о его последней работе. Как же он узнал?.. Конструкция еще не завершена. И хватит ли у Снесарева сил закончить работу?.. О ней уже известно врагам. Один из них находится в этой комнате. У Снесарева нет сил сопротивляться, он никого не может позвать на помощь. И весь дом почти пуст.

Этот человек сказал: «Другая броня». Значит, ему известно не все содержание неоконченной работы. Ясно, что он не инженер. Специалист говорил бы иначе, более профессионально, о деталях, о технической стороне дела. А у этого только общие слова.

Кто-то навел врага на след. Враг пришел добыть сведения. Предстоит борьба. Снесареву уже не казалось невероятным появление незнакомца, который все время держится так, что невозможно разглядеть его лицо.

Надя! Она в опасности! Незнакомец знает ее, упомянул о ее словах. Значит, враги следят за Надей.

— Вы ничего не добьетесь, — сказал Снесарев. — Я не могу помешать вам уйти отсюда, но из города вы не уйдете. В этом я уверен!

Незнакомец поднялся и стал спиной к кровати.

— Слушайте, Снесарев, — заговорил он после короткого молчания, — в вас говорит не сила, а только истерика. Поза... Последняя... Вам кажется, что вы герой, что вы способны сопротивляться. Красивые слова! А нужен расчет. Только я могу поднять вас на ноги. Посмотрим, много ли осталось в вас жизни...

На лицо Снесарева упал луч карманного фонаря. Он невольно зажмурил глаза. Незнакомец сбросил одеяло. Луч скользнул по плечам больного, по руке. Человек крепко держал его за кисть, нащупывая пульс.

— Слабо, очень слабо бьется сердце, — продолжал он все так же бесстрастно. — Запас жизни всего на несколько дней... Я знаю в этом толк. Я видел подобное. В наши руки попадали и ученые и изобретатели, которые не желали расстаться со своими секретами. Мы у них добивались ответа серьезными средствами, да, сильными и жестокими средствами... Говорю вам как опытный в этом деле человек. Так вот, инженер Василий Миронович Снесарев, у вас всего несколько дней жизни. Вам нужны тысячи калорий, чтобы восстановить жизнь. Эти тысячи калорий я могу вам дать. От вас требую немного. Все равно ваш город обречен. Я говорю о вашем корабле. Мне известно, что с начала войны способный конструктор Снесарев работал над проектом нового корабля. Мы способных людей ценим...

«Неопределенные слова, — подумал Снесарев. — Новый корабль... Вряд ли он знает, какой это корабль, какое у него назначение».

— Я жду, Снесарев... — И вдруг незнакомец тревожно спросил: — Что это? Кто это?

Даже в полутьме было видно, что он вздрогнул. За окном слышался легкий шорох, будто кто-то скреб снаружи по обледеневшему стеклу. Звук повторился несколько раз.

Снесарев тихо засмеялся:

— Разве можно достать до второго этажа? Оборванный провод испугал вас... Нет, вы обязательно попадетесь! А теперь можете делать со мной что хотите.

— Я вовсе не собираюсь что-то делать с вами. Я пришел к вам с деловым предложением.

Незнакомец говорил уже не бесстрастно, а торопливо и раздраженно. Он расхаживал в темной полосе комнаты из угла в угол.

— Я веду честный торг. Вот моя цена! Вам никто не сможет дать этого. Вот! — Он положил на кровать Снесарева мешок и переставил мигалку к изголовью. — О таком вы помните еще? Не забыли? Предметы из другого мира, до которого вам не добраться без моей помощи.

Разговаривая, он вынимал из мешка банки сгущенного молока, плитки шоколада, масло, какао, колбасу. А Снесарев смотрел только на его пальцы с желтыми ногтями, снующие в свете мигалки. Лишь на мгновение они

встретились взглядом. И Снесарев заметил, что веки незнакомца подергиваются в нервном тике.

— Встаньте, господин Снесарев, обыщите весь район! Нигде этого не найдете! Люди готовы отдать рояль за простой каравай хлеба! Я деловой человек. За такой мешок я мог бы получить то, что аккуратная, трудолюбивая семья наживает за целую жизнь. Неужели вы не знаете об этом?

— Нет, знаю. И есть негодяи, которые богатеют на этом!

— Просто деловые люди, которые извлекают выгоду при любых обстоятельствах. А, понимаю... — Незнакомец заговорил совсем другим, спокойным голосом, с оттенком добродушного лукавства. — Понимаю. Вы опасаетесь, что это богатство только приманка? Вы откроете секрет и ничего не получите взамен? Нет, нет, это было бы неумно с моей стороны. Вы имеете дело с солидной, так сказать, фирмой. Сделка солидная. Продаете вашу работу с выгодой и уходите от смерти... А гибель неизбежна. Глупо думать, что город спасется, господин Снесарев, совсем глупо! Война вами проиграна! Для кого вы бережете секрет? Для мертвых?.. Город не может жить без хлеба, без воды, без тепла, без надежды.

— Без надежды? Она есть у всех, даже у умирающих.

— Глупости! Нет, все здесь пойдет к черту! К черту! Это была единственная фраза, которую незнакомец сказал по-немецки. Он ее выкрикнул изменившимся голосом, сжав зубы и топнув ногой.

Неожиданно он включил репродуктор. Снесарев прислушался. Знакомые звуки наполняли полутемную комнату. Передавали Шестую симфонию Чайковского. Но звуки были слабые, едва различимые.

— Это, кажется, с другой планеты? — Незнакомец смеялся. — Они делают вид, что не гибнут! Можно умилиться. У них нет воды, а они музицируют! Смешно. А почему так плохо слышно? Потому что падает напряжение. Оно падает во всем. И так всюду в этом городе. Он обречен!

— Вы словно убеждаете сами себя,—сказал Снесарев.

— Что? — Незнакомец повернулся к нему. (И Снесарев разглядел костистый нос, длинное лицо.) — Убеждаю себя?

— Да. Вы думаете, что если дают очень мало хлеба,



— Я жду, Снесарев... — проговорил незнакомец.

если от голода погибли уже многие, то народ не устоит? Нет, господин деловой человек! Вам многого не понять. Вы столкнулись с людьми, которых не знаете...

— Зачем вы это говорите, бедняга Снесарев?

— Зачем? Как же... Вы появились в моей комнате, вы помогли мне понять, каковы они, наши враги! Ничего загадочного...

— Что ж, господин Снесарев...— Незнакомец был снова спокоен.— Я не должен был позволить вам так говорить. Но я извиняю, извиняю... Вернемся к делу. Ведь мы еще не договорились! Где ваши расчеты, документы? Я знаю, что проект не доработан. Говорите, я буду записывать. Так вы обеспечите себе тысячи калорий, без которых вам не встать, и солидное положение в будущем. В нашей системе предусмотрены такие люди, такие места — не очень видные, но вполне прочные. А о том, что вы говорили, забудьте! Эти мысли вам ничего не принесут... Вы хотите видеть вашу жену? Вашу маленькую дочь Людмилу Васильевну? Так ее зовут, да?.. Так где же эти расчеты?..

Снесарев молчал. Он еще раз подумал, что этот человек не инженер.

4. Мысль, расчеты, интуиция

В сентябре, когда начались артиллерийские обстрелы осажденного Ленинграда, было разрушено конструкторское бюро.

Снаряд разорвался под стеклянным колпаком крыши. Чертежные столы были перевернуты, папки выброшены из шкафов, бумаги разлетелись. К счастью, это случилось ночью, когда в бюро никого не было. Конструкторы взяли уцелевшие документы и перебрались в тесное, плохо приспособленное для работы помещение, без стеклянного колпака. Через неделю и туда ударил снаряд.

Пришлось рассредоточиться. Работы у конструкторов становилось мало — закрывался цех за цехом. Завод замирал. Все ушли с эллинга, оставив большой, недостроенный корабль, который уже не было смысла спускать на воду. В городе начинался голод.

В это время Снесарев работал над новым проектом. Мысль о нем появилась у Снесарева давно — еще до войны.

...Однажды летом в выходной день Снесарев и его друг со студенческих времен, инженер со смешной фамилией Стриж, выбрались за город. Они отправились на малолитражке, которую Стриж сам собрал. На вид машина была неказистая — колеса широкого сечения, кузов какой-то куцый, а капот слишком большой. Когда она стояла у подъезда, шоферы озадаченно посматривали на нее и недоуменно спрашивали:

— А какая же это марка?

Владелец невозмутимо отвечал:

— Марка на радиаторе.

И шофер, всматриваясь в узорчатые латинские буквы из алюминия, разбирал вслух:

— С-т-р-и-г-е.

— Стриж, — поправлял владелец машины. — Так читается по-французски.

Он был выдумщик, Миша Стриж, великолепный конструктор, мастер на все руки, веселый человек, чудесный товарищ.

В ту поездку Снесарев хотел взять жену и Люду. Но Марина отказалась ехать на «сомнительном драндулете», как она называла малолитражку Стрижа, и не отпустила Люду. Марина в тот день отправилась к родным и обещала вернуться только к вечеру. Снесарев и Стриж вдвоем поехали по берегу Финского залива.

С шоссе они съехали на узкую дачную дорогу, оставили машину под соснами вблизи пляжа. Это был берег Лахты. Снесарев и Стриж искупались, потом долго сидели на берегу, пили из парафиновых стаканчиков пиво, закусывали, смотрели на море.

В километре от них, почти не видные за высокими каскадами пены и брызг, искрясь на солнце, проносились торпедные катера. Шли учебные занятия. Катера делали резкие развороты и вдруг стопорили на полном ходу. Снесарев знал, что в мгновение, когда замирает мотор, катер вздрагивает всем корпусом. Безотказен могучий мотор. Торпедный катер можно на высшей скорости направить на каменную стенку и внезапно остановить в нескольких метрах от нее. И, когда мотор выключен, уже не грозное боевое судно, а утлое суденышко покачивается на легкой волне.

— Смотри! — шепотом сказал Снесарев. — Сейчас они...

Катера неподвижно стояли в километре от них. Но вот взметнулись водяные каскады, и катера сразу исчезли. И можно было понять, почему люди на пляже захлопали ладонями: неожиданная и такая красивая картина.

— У малого флота большое будущее, — сказал Снесарев.

— Это оспаривают, — заметил Стриж.

— Придет время, и перестанут оспаривать.

— В этом ты прав. А если сейчас спорят, то не потому, что убеждены в противном, не потому, что имеют веские аргументы.

— Почему же еще? — лениво спросил Снесарев.

— Почему? Тут, дружище, сказываются традиции, инерция мысли, обыкновенная косность. Знаешь, я хорошо запомнил слова академика Крылова, нашего корабельщика. Размышляя о природе косности, старик сказал: «Если какая-либо нелепость стала рутиной, то, чем эта нелепость абсурднее, тем труднее ее уничтожать».

— Здóрово сказано!

— Представь себе старого, очень знающего специалиста, — продолжал Миша. — У него давно сложились свои взгляды. Когда он был молод, когда он шел к успеху, эти взгляды казались незыблемыми, самыми передовыми. И теперь ему нелегко менять их. Нелегко признать равноправными кумир его молодости — линкор и малый корабль.

— И еще труднее согласиться с тем, что малому кораблю принадлежит большое будущее, — подхватил Снесарев. — Надо менять систему взглядов, менять на ходу...

— Но без этого теперь нельзя. Абсолютно нельзя.

Друзья замолчали, глядя в море. И в эту минуту, под солнцем на тихом пляже, Снесарев почувствовал, что именно теперь ему особенно ясной стала идея, которая недавно возникла у него.

В его представлении возникал новый корабль, по сравнению с громадами линкоров малый и дешевый, но сильный, сверхбыстроходный, с маневренностью ящерицы, вооруженный боевыми ракетами и торпедами-молниями. Надежная, но легкая весом броня нового типа... И главное — быстроходность, еще не виданная на море.

Она достигается благодаря водяным крыльям. Да, да! Из киля корабля под водой выдвигаются небольшие крылья-плоскости, и, набирая скорость, корабль начнет скользить на них по поверхности моря, почти не испытывая сопротивления воды.

Оба они, и Снесарев и Стриж, чувствовали, что приближается время грозных испытаний, что германский фашизм неизбежно навяжет всему миру и Родине войну. Такая война может стать долгой и тяжелой.

«Отныне стол конструктора — это наша точка обороны», — говорил в то время Снесарев.

Мысль, которой Снесарев поделился с другом на берегу залива в Лахте, не сразу увлекла Мишу. И это было неприятно Снесареву.

— Считаешь, что неосуществимо? Прожектерство? — спросил он.

— Нет, не прожектерство, конечно. Но тебе лучше знать.

— Увы, пока не лучше. Я ведь в самом начале работы. Что ты скажешь о самой мысли?

— Премногозначительно!..

Это было одно из словечек Миши.

— Прошу по-серьезному. Я ведь с твоим мнением всегда считался.

— Ах, по-серьезному? Ну, тогда не знаю, кому труднее — тебе или... скажем... Резерфорду.

— При чем тут Резерфорд?

— Ну как же! Ему понадобилась колоссальная энергия, чтобы превратить один элемент в другой. Но это подсчитано. А какая сила нужна для того, чтобы превратить корабль одного типа в другой, не могу себе представить. И много, так сказать, фантастики.

— Да не превратить, а создать новый корабль! Вот не ожидал, Миша, что ты так примитивно... — Снесарев поморщился. — А насчет фантастики, так ведь это программа-максимум. А для начала можно создать корабль с более скромными достоинствами — например, без крылышек.

Стриж рассмеялся:

— Ну, польза-то есть и от моей примитивности.

— Какая польза?

— Представь себе, как встретят твой проект, если даже я, твой друг... Однако отбросим шутки. — Миша

стал серьезен. — Корабль, говоришь, должен быть малым, быстрым, маневренным. Сколько же нужно лошадиных сил и как они уместятся на твоем малом корабле? — Последние слова Стриж произнес с расстановкой.

— Вот это деловой вопрос. Жду других.

— Пожалуйста. Что такое в наше время конструктор-машиностроитель? Это тот, кто воюет с массой вещества.

— Туманно и неопределенно...

— Постой. Он прежде всего, не говоря уже о прочности, должен обеспечить большую скорость. Потому он и борется с весом конструкции.

— Это присказка, Миша. Дальше!

— В прошлом веке конструктор не очень заботился о размерах, о габарите. А теперь это на первом плане. Тебе нужна большая скорость, малый габарит, надежная броня, солидное вооружение. Все эти требования в корне враждебны друг другу. Как ты их примиришь? Как совместишь?

— Перед противоречиями не отступают.

— Красиво сказано.

— Я еще не рассчитал до конца. Но чувствую, что их можно совместить. У конструкторов также бывает интуиция.

Спичечным коробком Снесарев задумчиво чертил на песке лахтинского пляжа первый эскиз малого корабля. Набежавшая волна смыла рисунок.

— Вот так практика смоет твой замысел... — усмехнулся Стриж. — Нет, нет, я шучу!

— У тебя бывают шутки поостроумнее... — Снесарев был немного обижен.

Но осенью 1941 года, после того как началась осада Ленинграда, Снесарев показал Стрижу первые расчеты, и тот поверил в замысел друга. Они стали работать вместе. Вскоре после того, как Снесарев отправил жену и дочь в эвакуацию, Стриж поселился у него. Квартира опустела. На диване лежал забытый при сборах в дорогу большой плюшевый медведь — давний подарок Стрижа. Тогда Людочка, взвизгнув, с разбегу прыгнула на Стрижа и, карабкаясь по его длинной фигуре, закричала: «Дядя Миша принес Мишу!»

Оттого, что квартира опустела (через площадку — тоже пустая), оттого, что на диване лежит забытый Мишка,

друзьям взгрустнулось. В первый вечер они молча пили чай, а потом, ложась спать, вспоминали вполголоса о недавней жизни, о ее радостях и разных забавных случаях, о таком недавнем и далеком.

Так повспоминали они дня два-три подряд, а потом, по молчаливому согласию, отказались от воспоминаний.

И внешне и по характеру друзья — а друзьями они стали с первого дня учебы в Кораблестроительном институте — были совсем разные люди.

Снесарев с юности солиден на вид, коренаст, не очень разговорчив, собран, нередко резок, с жесткими, ежиком, волосами. Когда он думал, то крепко сжимал губы. Это движение перешло к дочке. Когда Люда соображала, куда ей посадить куклу — возле тарелки или возле вазы с цветами, она делала пресерьезную физиономию и сжимала губы. Смеялась жена, хохотал Миша. Людмилу в такие минуты называли: «конструктор Снесарев в следующем поколении».

Миша был мальчишист и в двадцать, и в тридцать лет, и в тридцать два года — последний год его жизни. Длинный, подвижный, с лохматыми волосами, которые, как говорил заводской парикмахер, «невозможно отлегулировать», хохочущий по любому поводу, иногда шумный до утомительности.

В этой же комнате, в столовой, где они теперь уныло пили чай, Мише пришлось выслушать неприятные и, как оказалось впоследствии, несправедливые слова. И Снесареву, и его жене Марине, которая также знала Мишу со студенческих времен, не понравилось его сближение с Надей — девушкой, работавшей в копировочной.

— Миша, давайте говорить в открытую, — предложила однажды Марина. — По-дружески. Вопрос, правда, деликатный. Но ведь мы друзья и, думаю, имеем право?

— Какой вопрос? — Миша будто бы не понял.

— Ой, Миша, не увиливайте! — Марина всплеснула полными руками. — Не думала, что вы такой трус! Ладно, молчу... Хотите кизилового варенья?

— Очень люблю кизиловое, особенно вашей варки.

Марина положила варенья в блюдечко, взглянула Мише прямо в глаза и решительно заявила:

— Все-таки буду говорить. Нравится вам или не нравится, а скажу.

— Что же вы такое скажете?

— А то, что мне не по душе ваш проект.

— Какой проект? Вы о какой конструкции?

— Опять увиливаете? Нет, не отстану от вас... Надо, надо сказать!

Последнее относилось к Снесареву, который развел руками, видимо подавая жене знак, что лучше прекратить этот разговор, если Миша отказывался поддерживать его.

— Проект вашей женитьбы мне не по душе, Миша! — отрезала Марина.

— А мне, признаться, он по душе...

— Вот то-то и плохо. Я говорю это вам как женщина. Мы это лучше вас видим. Ошибаетесь в выборе!

— Почему — ошибаюсь?

— Пустовата. Не такая жена вам нужна.

— Все придет к ней, все то, чего, по вашему мнению, в ней нет. Она молода, и все в наших возможностях. — Миша ерзал на стуле, старался шутить, но это не очень удавалось ему. — Она еще очень молода. Но отнюдь не пустовата... Твое мнение, Вася?

— Согласен с Мариной, полностью согласен.

— Ну еще бы! Муж и жена — одна сатана, как говорили в старину.

— Придет ли, Миша, к ней то, о чем вы сказали? Я знаю ее.

— Изучали?

— Да, говорила с ней. Танцы, прическа, последняя песенка... И больше, кажется, у нее ничего нет за душой.

— И при этом служба, — едко добавил Снесарев. — Недалека!

— Плохо работает? Спустя рукава? Только, чтобы отвязаться, да? Ты это хочешь сказать? — Миша начинал сердиться.

— Нет, «повинность» отбывает нормально, по обязанности.

— Вы оба несправедливы. Почему вы так ополчились на нее?

— Нет, нет! — горячо возражала Марина. — Неужели мы не хотим вам добра? Вы раньше слишком долго вы-

бирали, а теперь торопитесь. Ведь, в сущности, вы женитесь вдогонку...

— Что? Что?

— Женитесь вдогонку вашим друзьям. Решили поправить вашу судьбу. Но надо умненько, а вы...

— Браво, Маришка! В самую точку... Михаил, она умнее нас в этом вопросе.

Миша перестал сердиться, он хихикал и как-то беспомощно повторял:

— Ну и пусть вдогонку. Пусть! А женюсь, обязательно женюсь на ней!

«Вдогонку»... Слово было меткое. Из всех товарищей по институту только Стриж, которому перевалило за тридцать, все еще не обзавелся семьей. И друзья шутили: «Один, как Стриж», «древний холостяк Стриж». Миша вначале посмеивался, но однажды такому шутнику сделал внушительное предупреждение — предложил пощупать свои мускулы. Стальные шары выросли под рукавами кителя. Кто бы мог подумать, что худощавый и вертлявый человек был неплохим боксером? В свободные часы он тренировал команду заводских ребят.

Теперь декабрь. На трамвайном кольце у заводских ворот среди сугробов снега вмерз в рельсы остов обгоревшего вагона. В этом вагоне был убит осколком снаряда Миша Стриж. В тот день, два месяца назад, он собирался съездить домой за зимними вещами — трамвай еще ходил в осажденном городе. Они расстались на заводском дворе в шесть вечера, а через пять минут Миши не стало.

С тех пор Снесарев работал над проектом один. В ноябре погас свет, остановилась копировка. Ранним снегом замело дворы, и перестали чистить заводскую узкоколейку. Закрылись большие цехи. Работа шла в двух-трех мастерских, самая неотложная, для воинских частей, расположившихся неподалеку.

Снаряды преследовали конструкторов. Дважды были разбиты их временные помещения. И вот они очутились в маленькой, унылой, закопченной комнате рядом с заводским комитетом. Там было холодно, замерзала тушь. Снесарев работал за себя и за Мишу. Он сидел над черновыми чертежами и предварительными расчетами, не

замечая ни холода, ни усталости. Только сумерки останавливали работу. Руки отдыхали час-другой, а мысль не знала отдыха. Надя уже не приносила из копировки листы плотной синей бумаги, на которых отчетливо проступали мысли конструктора. Но Снесарев все же видел свой корабль. Он вытаскивал из кармана ватника циркуль, отогревал на коптилке пузырек с тушью, и в двух тетрадях, что лежали в большой папке, появлялись новые цифры, формулы, расчеты, линии.

Шла, как Снесарев говорил, «сборка общей мысли». Эта мысль постепенно вставала перед ним все более завершенной. Он уже видел свой корабль: крутой, подобранный корпус, таящий большую силу, заключенную в малых габаритах. Он твердо верил, что этот чудесный корабль новых, неожиданных для врага качеств будет создан. Он представлял себе, как завод строит этот корабль, как его спускают на воду и оснащают, как передают морякам.

Все узлы конструкции приходилось теперь продумывать одному. Миша успел сделать немного. Нельзя было, как прежде, распределить работу: многих конструкторов перевезли в тыл, других призвали в армию.

Однажды, когда Снесарев работал у окна, стараясь побольше сделать до наступления густых ноябрьских сумерек, мелькнуло воспоминание о Мише, самое жгучее из всех. Его навеяла большая папка, куда Снесарев складывал свои бумаги, старая Мишина папка...

Стриж, надевший незадолго до войны форму инженера военного флота, во всем подчеркивал свою любовь к морю, даже в шутках. Свою папку он разлиновал на большие белые и синие квадраты, придал ей форму флага и называл сигнальной. Если папка вдруг показывалась у застекленной двери кабинета Снесарева, это значило: Мише нужно срочно поговорить со старшим товарищем, в работе возникло затруднение, необходима консультация по важному вопросу.

Такое сочетание белых и синих квадратов означало по международному морскому коду сигнал: «Терплю бедствие, нужна немедленная помощь».

Вот откуда пошла Мишина выдумка.

Снесарев подобрал Мишину папку, когда перебирался в комнатку возле завкома. Там он поработал недели две, а потом свалился. Усталость и голод так ослабили

организм, что небольшая простуда почти замертво свалила этого крепыша. Он тяжело заболел.

На другой день пришла к нему Надя, Мишина Надя. Она принесла маленькую, аккуратно перевязанную вязанку дров, лекарство, хлеб. Она села возле кровати, сняла вязаную шапочку, откинула волосы назад, подышала на градусник, протерла его и протянула Снесареву.

— Меня партком прикрепил к вам, Василий Мироныч, — сказала она. — Буду приходить, навещать.

— Вернее, вы сами прикрепились? Спасибо, Надя...

— Да нет, честное слово! В парткоме беспокоятся. Мне сказали, чтобы я помогла вам. Я, конечно, согласилась. А вы разве против моего общества, Василий Мироныч?

Надя пыталась сказать это шутливо, но видно было, что шутки ей не давались. Она не знала, о чем говорить. «Знает ли Надя о том, что я и Марина отговаривали Мишу от женитьбы на ней? — подумал Снесарев. — Вероятно, Миша ничего не сказал ей. Но ведь девушки догадливы. И вот теперь она сидит возле меня, больного, а Миши нет...»

И Снесарев ругал себя за то, что так легко и поверхностно судил об этой девушке. Почему он решил, что это пустое и недалекое существо? Он убедил в этом и Марину, та повторяла его слова. «Почему я решил так? Вероятно, сам я поверхностный человек и плохо разбираюсь в людях».

В эти трудные месяцы он понял, что Надя — простая, без претензий, хорошая девушка, что она могла стать надежной подругой Миши. Он видел, что она тяжело переживает огромное горе, но глубоко прячет его в себе.

Надя развела огонь в печурке и спросила:

— Может, еще что-нибудь нужно, Василий Мироныч? Может быть, постирать? Вы не стесняйтесь, пожалуйста, я согрею воды и мигом...

— Нет, нет, не надо... — Снесарев смешался.

Казалось, что Надя нисколько не изменилась: все такие же пухлые щеки, на которых еще оставался румянец, тонкий, чуть продолговатый нос. В сочетании с круглыми ребячьими щеками он был немного забавен. Раньше ее дразнили «долгоносиком», и она по-детски обижалась, чуть ли не до слез. У Нади был крутой лоб и очень боль-

шие, выпуклые глаза. Казалось, если она скосит глаз, он налезет на висок.

И теперь Надя на вид была все тот же «долгоносик» — молоденькая смешная девушка, почти девочка. Но, внимательнее вглядевшись, Снесарев увидел две горькие морщинки возле девичьих глаз.

— Надя, сядьте поближе. — Снесарев погладил ее по руке. — Тяжело?

— Да, — потупившись, прошептала Надя. — Да, очень тяжело, Василий Мироныч...

Он понял, что воспоминание о Мише крепко связывает их.

— Я вижу: не надо говорить, чтобы вы взяли себя в руки. Так и держитесь, девочка...

И больше они не говорили о Мише. Но оба чувствовали, что каждый думает о нем.

— А ваш ежик поседел и поредел, Василий Мироныч, — вдруг сказала Надя. — Должно быть, вы стали добрее.

— А разве я бывал недобрым?

— Бывали...

Так она дала понять, что знала об отношении Снесарева к ней.

Снесарев мягко ответил:

— Надя, бывает так, что не увидишь человека, ошибешься в плохую сторону... Потом казнишь себя за слепоту, спрашиваешь: почему же ты ошибся? И не можешь найти ответа...

Он замолчал и подумал: «Напишу Марине — ошиблись мы оба с тобой, глупейшим образом ошиблись».

Надя казалась теперь совсем другой. Откуда в ней такая глубокая душевность? Неужели огромное горе причиной этому? Нет, не то. Ничтожных людей горе может сломить, озлобить, толкнуть на самое дно. А Надя будто выросла, душевно возмужала.

— Как вы повзрослели, Надя. Совсем уже не та девочка, что прежде...

Надя приходила каждый день, хозяйничала. Болезнь Снесарева затянулась, осложнилась. Но порой, когда самочувствие было чуть лучше, он, накинув на плечи шубу и сунув ноги в старые, растоптанные валенки, садился к столу. Правда, ему был предписан полный покой, но листы проекта так тянули к себе... Надя, сердясь по-настоя-

щему, грозила, что отберет и спрячет бумаги, что пожалуется в партком. И почти силой укладывала в постель. А Снесарев обещал, что больше не будет вставать.

Но как сдержать слово, когда мысли будят по ночам, новые и интересные мысли! Невозможно сопротивляться им. Снесарев зажигал мигалку и забывал обо всем: о том, что в доме пусто, что завод не работает, что Марина с Людой где-то далеко. Поднимаясь с кровати, он не чувствовал своего тела — такое оно было легкое. Но последние три дня Снесарев не вставал. При каждой попытке у него мучительно кружилась голова. Лежа, он продолжал думать о своем. Только бы не забыть то, что в таких удивительно ясных очертаниях вставало перед ним! Только бы запомнить найденные решения, помнить их до той минуты, когда он снова подойдет к рабочему столу!

5. Человек, который оставался незамеченным

Марина, бывало, смеясь говорила, что с последним глотком чая у мужа совершенно пропадает ощущение домашней жизни. После этого глотка он уже не дома за столом, где завтракает, а за своим конструкторским столом. Последний глоток допивался стоя — вовсе не потому, что не хватало времени, а потому, что конструктора срывали с места новые мысли. Следовал прощальный поцелуй жене — «довольно отвлеченный», по определению Марины. Затем Снесарев осторожно целовал ручку спящей Людмилы и уходил. В первые годы на него обижались за то, что он как-то небрежно и рассеянно здоровался с сослуживцами. Потом к этому привыкли. Он не всегда видел тех, с кем здоровался. Он проходил через будку, не замечая старого вахтера, которому каждый день предъявлял пропуск, хотя это был приметный человек — крепкий, высокий старик с четырехугольной полуседой бородкой, очень почтительный.

— Ну, и шутник же у вас там в проходной, — рассказывали Снесареву инженеры, приезжавшие с других заводов. — Концерт самодеятельности может вести.

— Кто это?

— Да старик такой... бравого вида. Неужели не знаете?

— Вахтер? Они у нас часто меняются.

— Однако я всего в третий раз здесь и все-таки обратил внимание.

— У вас было время обратить внимание, — смеялся Снесарев. — Вам полчаса оформляли пропуск.

Вахтер Мурашев уже с десяток лет стоял в проходной. Он появился здесь еще до того, как Снесарев поступил на завод. Старик был исправным служакой и вместе с тем человеком общительным, весельчаком. Женщины, работавшие в проходной во время его дежурства, не скучали. Старик знал много прибауток, баек и хвастал своей аккуратностью.

— Хозяйки у меня нет, не нужна. Сам я хозяйка, — говорил он. — Сам варю, утюжу, штопаю. Не считайте, бабочки, меня женихом.

Все на нем — фуражка, старая куртка, сапоги — было тщательно вычищено, без пылинки, без пушинки. Мурашев уверял, что сапоги он носит по двадцать лет одну пару, а они всё новые.

— Голенища побьются, другие пришью. Головки износятся, другие ставлю, а сапоги всё те же!

В карельские леса уходило прошлое Мурашева. Там он начал приказчиком купца-лесопромышленника, а в годы перед революцией — даже участником в прибылях. Он уже был на пороге «своего дела», большого богатства, и все это рухнуло в несколько дней. Припрятав толстую пачку царских пятисоток, он нанялся объездчиком в лесничество. Зимой 1921 года этот лесообъездчик помогал белофинским бандам, вторгшимся в Карелию. Он передал им список советских активистов пограничных сел. Белобандиты незамедлительно повесили всех, кого нашли по этому списку.

Но лыжный рейд в снегах, захваты пограничных деревень, бои с отрядами красных курсантов — все это окончилось неожиданностью для самого Мурашева.

У самой границы главарь отряда, вторгшегося в Советскую Карелию, сказал ему:

— Мы уходим. Но не считайте, что это неудача. Была проба сил. Мы вернемся!

Мурашев не понимает, зачем ему говорят об этом. Он на лыжах, как и другие, за плечами вещевой мешок. Через полчаса он будет на той стороне. И вдруг командир

отряда продолжает равнодушным и высокомерным тоном:

— Вы останетесь здесь. Вы будете нам нужны здесь.

Мурашев похолодел, но пытался возражать:

— А если я пойду с вами?

— Пойдете — вернем сюда, прямо в руки большевикам.

Мурашев остался. Его передавали от агента к агенту. Теперь он пронумерованный агент иностранных разведок. Избавиться от этой службы можно только явкой с повинной, но на это он не шел. Мурашев скрылся в костромских лесах, и спустя год, уже освоившись там, он возил по Мологе, по глухим безымянным протокам, группу дельцов из Германии: молодое советское государство привлекало для разработки части лесов иностранных концессионеров. Приезжие говорили между собой по-немецки и немного по-русски — в пределах того, что полагалось знать Мурашеву.

— Нишего, нишего... — Однажды один из них, как бы угадав думы Мурашева, хлопнул его по плечу. — Не в дверь, так в окно...

И Мурашев понял, о каком «окне» идет речь: если не удалось оружием покорить эту взбунтовавшуюся страну, то найдутся другие средства покорения — иностранные концессии постепенно захватят экономику, втихую врастут в эту жизнь и все повернут на старый лад...

Так думали приезжие, на это надеялся Мурашев, приказчик лесной концессии. Он служил своим новым хозяевам так ревностно, что им приходилось порой одергивать его, — очень уж ненавидели его лесорубы и сплавщики, а это было нерасчетливо.

Но вот пришел конец концессии. В Ленинграде, на площади возле Исаакиевского собора, в доме германского консульства, где помещалась контора концессии, Мурашеву выдали полный расчет, потом вызвали в кабинет одного из директоров, которого Мурашев встречал на Мологе. Директор представил его высокому, довольно молодому человеку в больших очках, которые тогда входили в моду, гладко зачесанному, а сам вышел из кабинета.

Молодой человек предложил Мурашеву сигарету, которую тот неумело закурил, и начал разговор, не назвав себя.

— Чем думаете теперь заняться? — спросил он.

Мурашев после раздумья ответил, что у него есть сбережения. Заняться он думает помаленьку торговлей.

— Пока это не запрещено, — сказал незнакомый человек. — Но следует думать о том, что такая возможность исчезнет.

— Неужели и тут прижмут? — Мурашев был растерян.

— И тут прижмут. — Собеседник кивнул головой и улыбнулся. — Весьма, весьма возможно.

Видимо, его позабавили незнакомое еще слово и растерянность Мурашева. А Мурашеву не понравилась эта улыбка — очень холодной была она. И еще больше не понравилось, что собеседнику было известно все его прошлое. Он никому ни единым словом не обмолвился о том, что с ним было в Карелии зимой 1921 года. А этот все знал. Откуда?

— Занимайтесь коммерцией, если вам угодно. Вас рассчитали весьма щедро. Вам заплатили гораздо больше, чем другим служащим. Но эта прибавка не деньги концессии. Имейте в виду!

— Что же это значит?

— Это значит, что вы мне еще понадобитесь. Куда вы едете?

— Под Воронеж, думаю.

— Ну вот по этому адресу сообщите, где обосновались. — И собеседник протянул Мурашеву листок, на котором было напечатано несколько слов. — Будете сообщать о всех переменах вашего адреса.

Когда Мурашев, идя по площади, оглянулся на гранитный дом с колоннами, он показался ему западнёй.

Под Воронежем Мурашев держал мельницу, крупорушку, торговал мукой. Но приближался неумолимый конец. В уездной газете появилась заметка о том, что Мурашев, а с ним еще группа местных дельцов скрывают от обложения свои настоящие доходы, что фининспектор проглядел это. Автор заметки, комсомолец-селькор, вскоре был найден тяжело раненным в перелеске на скосе, которым пешеходы сокращали себе путь в том месте, где дорога огибала холм. Пострадавший не видел того, кто стрелял в него. У Мурашева сделали обыск, но никаких следов не нашли. Свое охотничье ружье он продал за несколько месяцев до этого случая. Все же у него взяли подписку о невыезде. И в ту же ночь Мурашев исчез. Он

бы мог назвать имя того, кто стрелял. За торговлю Мурашев больше не принимался — частных торговцев уже нигде не осталось.

Не хотел он напоминать о себе своим таинственным хозяевам, но пришлось: понадобились новые документы. Он их получил и уехал в Сибирь, поступил на службу в лесной склад. Никто от него ничего не требовал, и он был этим очень доволен, думал — забыли о нем. Однажды вечером заявился к нему неизвестный человек, передал немного денег и приказ — выехать в Ленинград. Мурашев собрался в путь. В Ленинграде, в условленном месте, ему сказали, что он будет определен вахтером на завод.

— Вахтером? И надолго?

— Неизвестно... — Человек, с которым он встретился, отвечал сухо.

Он дал понять, что много говорить не полагается, а Мурашев должен подчиняться распоряжениям, которые он изредка будет получать

— Вахтером? И это мне награда за всё?

— За что? Вы для нас еще ничего не сделали. А мы вам оказали услугу...

Тогда-то ему и были вручены безупречные документы на имя Мурашева, и он встал на свое место в проходной большого судостроительного завода.

От него ничего не требовали, ему еще долго не давали никаких заданий. Но Мурашев знал, что он навечно привязан к своим тайным хозяевам. О, как он ненавидел все окружающее! Он ненавидел и невидимых своих повелителей, и вахтерскую службу, и особенно люто тех, кто проходил мимо него: женщин, с которыми он шутил, продавщицу, у которой брал хлеб, ненавидел директора за то, что по сигналу его машины приходилось открывать ворота, ненавидел веселых молодых парней, ненавидел весь завод.

У него были две встречи с тем молодым человеком, который в концессии вел с ним памятную беседу. Человек этот изредка появлялся в Ленинграде. Встречи с ним были коротки.

«Что делать?» — спрашивал Мурашев. «Ждать», — отвечали ему. Пусть ждет и не рассуждает.

Вскоре ему было приказано взять под наблюдение нового конструктора Снесарева. Надо разузнать, что он делает, что говорят о нем другие инженеры. Надо будет,

когда прикажут, проникнуть в бюро, сделать снимки с чертежей. Да, Мурашева научат обращаться вот с этим маленьким фотоаппаратом, который свободно можно спрятать в карман, — он займет места не больше, чем портсигар. Но это впереди, а пока — наблюдать и ждать.

И вот в руках вахтера Мурашева служебный пропуск инженера Снесарева. Вахтер внимательно смотрит на маленькую фотографию, смотрит на владельца пропуска, молодцевато берет под козырек. Он наблюдает.

И почему именно Снесарев так интересует того, кто дает приказания Мурашеву? Конструкторов на заводе немало, а этот, видно, особенный, такой особенный, что всерьез заинтересовал тех. Инженер Снесарев имеет обыкновение после обеда в заводской столовой с четверть часа ходить по двору. Заложит руки за спину, курит, раздумывает... О чем он думает? И Мурашев смотрит на него, смотрит со злобой, которую научился прятать в себе.

— Можно бы мне устроиться в пивной ларек, — несмело при одной из встреч сказал он негласному начальнику. Мурашеву смертельно надоели вахтерская должность и бесцельное наблюдение.

Собеседник погрозил пальцем:

— На покой захотелось? Рано!

— Да нет... — возразил вахтер. — Ведь все одно я зря тут стою...

Собеседник строго перебил его:

— Нам лучше знать, где вы нужны. А что, этот Снесарев еще думает после обеда, гуляет и думает?.. — На прощание начальник ободрил агента: — Ничего, будут большие дела, интересные и для нас, и для вас... Ведь вы знаете, что у нас происходит?

Мурашев об этом читал в газетах.

— Да, — почтительно согласился он, — у вас в Германии большие дела! Серьезные, я бы сказал, дела.

Собеседник на этот раз расплылся в самодовольной улыбке:

— Именно так!

— В гору он идет, в гору. Ох, идет же!.. Просто дух замирает... — И Мурашев осмелился попросить подробнее рассказать о Гитлере, который «шел в гору».

Но собеседник не стал рассказывать.

— Все в свое время. Когда придет это время, я подарю вам его портрет. Повесите у себя в комнате. Вы

тогда за всё расплатитесь с ними, Мурашев. За мельницу. За что еще?.. За кру-по-руш-ку. — Это слово собеседник произнес старательно, как трудное. — За потерянное богатство. О, мы с вами этим людям сделаем вот так!.. — И собеседник провел пальцем вокруг шеи. — Ведь того комсомольца вы сами?..

— Не так оно было.

— Не хотите говорить об этом?

— Незачем...

Да, Мурашев не любил воспоминаний.

6. Мерике-Люш

Мерике-Люш — одно из его многих имен. Переехав границу Финляндии, он именовал себя иначе, а на севере Швеции его называли Хайдте.

До гитлеровского переворота молодой Мерике-Люш скрывал свою принадлежность к нацистам. Так было выгодно гитлеровцам, готовившимся захватить власть. Он — разведчик фашизма в своей родной стране — водит знакомство с коммерсантами, бывает в семьях крупных чиновников, добывает сведения, которые могут сослужить притаившимся фашистам полезную службу. Но его тянуло на восток. Там он видел свое большое будущее. Он усердно изучал русский язык, ездил в Ригу, для того чтобы приобрести тот акцент, с которым прибалтийцы говорят по-русски.

В те годы нашумело дело трех молодых фашистов, которые под видом путешественников, отправлявшихся в пустыни Азии, прибыли в Москву. Эти трое обратили на себя внимание повышенным интересом к различным секретам и, наконец, были изобличены. У них нашли револьверы, взрывчатку, яд в большом количестве, запас подложных документов и печатей. И на суде они рассказали о своих планах. Они собирались выводить из строя мосты, заводы, убивать из-за угла, сколотить тайную организацию своих сторонников.

— Младенцы! — пренебрежительно отозвался Мерике-Люш о неудачниках. — Глупые младенцы! И этих дураков приходится выручать теперь! Я бы не стал заступаться за них.

Большой поход на восток, война, небывалая по размаху, не убийства из-за угла, а уничтожение десятков и

сотен тысяч людей — вот что нужно... А пока — тихий шпионаж, расстановка своих людей, методичное изучение противника. И Мерике-Люш предлагает свои услуги разведке. Под видом коммерсанта он бывает в Москве, на предприятиях концессий, в Ленинграде. Он создает свою агентуру.

После поджога рейхстага Мерике-Люш является к начальнику со значком нациста в петлице.

— До сегодняшнего дня я это прятал на сердце, уважаемый шеф! — несколько напыщенно объявляет он.

— Мы давно знали, что значок лежит у вас на сердце, — дружески отвечает шеф.

«Еще бы! — подумал Мерике-Люш. — Теперь вам выгодно быть в хороших отношениях со мной».

Мерике-Люш становится признанным специалистом по разведке на Востоке.

— Что вы скажете о реальности этого плана?

Вопрос был обращен к Мерике-Люшу в июле 1941 года, спустя месяц после начала войны.

Разговор происходил в блиндаже командира полка возле маленького города Луги, на подступах к Ленинграду, где наступавшие немецкие армии вынуждены были остановиться. Появились окопы, а это не было предусмотрено в планах безудержного движения.

— Итак, что вы скажете о реальности этого плана? О сроках? Ведь вы долго изучали эту страну.

Вопрос исходит от лица, ранее недосягаемого для Мерике-Люша, с глазу на глаз. Хозяина блиндажа услали. За его столом сидит худощавый смуглый человек. Он немигающими глазами в упор смотрит на собеседника. Это адмирал Канарис — начальник разведки гитлеровского генерального штаба. Этот человек сделал сказочную карьеру. Мерике-Люш считает его проходимцем и остро завидует ему. Даже в фамилии адмирала есть что-то сомнительное: Канарис, похоже на каналью... Но держаться с ним надо почтительно. Одного слова этого невзрачного человека достаточно, чтобы ему, Мерике-Люшу, снесли голову.

— Я полагаю, — отвечает Мерике-Люш, глядя в глаза высокому начальнику, — что фюрер назначил вполне достаточный срок для того, чтобы победно окончить войну на востоке.

— Семьдесят дней?!

Что за коварный вопрос? Нетрудно попасть впросак... Разве можно предсказывать с точностью до одного дня?

— Так точно! — не колеблясь, отвечает Мерике-Люш.

Этот ответ Мерике-Люшу напомнили после того, как прошли и семьдесят и сто дней войны, и гитлеровским частям, осаждающим Ленинград, пришлось зарыться в землю, и командиры настойчиво просили поторопиться с подвозом зимнего обмундирования.

Мерике-Люш молча негодовал. Он подозревал какую-то темную игру. Должно быть, штабисты хотят доказать, что сделали все от себя зависящее, а если сроки не соблюдены, то ответственность ложится на низовую разведку — ее данные были неверны. Вероятно, этот адмирал Канарис уже летом испытывал какое-то беспокойство и по-своему проверял помощников.

Ленинград устоял. Не удалось ворваться в него в сентябре. А падение города ожидалось с часа на час. И Мерике-Люш уже видел, как он будет ходить по пустынным, обезлюдевшим улицам, в которых по приказу Гитлера предстояло убить всякую жизнь, разрушить все здания. Здесь предполагалось оставить вымершую землю, которая отойдет к Финляндии.

— Прошло только два с половиной века, — смеясь, говорил Мерике-Люш за веселым офицерским обедом. — И мы станем свидетелями того, как осуществится страшное и вещее предсказание! Поднимем за это бокал!

— Какое предсказание?

Он снисходительно объяснял: во времена Петра I его враги, недовольные постройкой столицы на севере, грозили: «Быть Петербургу пусту».

— Ну, вот вы видите, господа, что приходит этот час.

Разговор происходил в офицерском казино на базе бомбардировщиков возле станции Сиверская, в семидесяти километрах от Ленинграда. Минут пятнадцать требовалось бомбардировщику, чтобы достигнуть городской черты.

На наблюдательном пункте передовой части Мерике-Люш разглядывал в дальномер окраины Ленинграда, и теперь он ему казался загадочным. Каждую ночь над ним завывают бомбардировщики. Почтальон может добраться только до определенного дома на улице Стачек,

а за этим домом — зона военных действий. Дальнобойная артиллерия простреливает город из конца в конец. И все-таки он держится.

В октябре Мерике-Люш получил приказ проникнуть в осажденный город. Командование решило, что там нужен еще один опытный резидент, который хорошо знает город. Ему вверялась неограниченная власть над агентами, над корректировщиками артиллерийского огня, которых удалось забросить в Ленинград или завербовать до войны.

— К концу года все должно кончиться, — сказал Мерике-Люшу его начальник. — Новый год мы будем встречать вместе. Город не может устоять. По нашим сведениям, в нем прибавился еще миллион жителей. Это те, что ушли из местностей, занятых нами. Они — балласт для осажденного города... Словом, надо самым тщательным образом изучить обстановку.

— Да, конечно, город не устоит, — ответил Мерике-Люш, который умел повиноваться.

Задание казалось нечетким. Раньше он твердо знал, что́ должен делать. Теперь этого не было. Такое чувство для каждого разведчика — зловещий признак. Мерике-Люш заставил себя не думать об этом. Он повиновался приказу.

Безлунной ночью самолет поднял его с аэродрома в Сиверской, а через четверть часа Мерике-Люш опустился на парашюте, с оружием, передатчиком, запасом продовольствия и большой суммой советских денег, с подложными документами. Он действительно хорошо знал город и правильно выбрал квадрат для спуска. Это был Удельнинский парк. Мерике-Люш спрятал парашют, укрыл рацию, аккумуляторы и рано утром отправился в город.

Теперь он был не Мерике-Люш, а эстонец Август Кайлис, уроженец Тарту, монтер, проживавший до войны в Пскове, эвакуировавшийся оттуда, застрявший в осажденном Ленинграде, потерявший связь с семьей, которая уехала из Пскова на два дня раньше, чем он.

Некоторые заводы еще работали в Ленинграде, изредка ходили трамваи. В одном из них, от Удельной к центру, Мерике-Люш едет по Выборгской стороне. Все молчаливы в вагоне. Машин на улице совсем мало, только военные грузовики. Трамвай проходит мимо завода.

Кажется, он называется Металлическим. Сейчас должна начаться смена. Люди толпятся у проходной — их немного, все пожилые, даже старые.

Кондуктор молча принимает деньги и отсчитывает сдачу. «Это подавленность или сосредоточенность? Надо будет проверить, — думает Мерике-Люш. — Первому впечатлению нельзя доверяться».

Он слезает возле Невского и идет по одному из адресов, где может быть явка. Перед ним открывается Марсово поле. Мерике-Люш не может сдержать довольной улыбки. То, что он видит, говорит о тяжелой беде, в которой оказался город.

На поле еще сохранились жалкие клочки травы. Возле них стоят понурые, отощавшие коровы. Это те коровы, которых гнали уходившие от немцев крестьяне. Над такими стадами проносились, стреляя из пулеметов, истребители, их настигали снаряды. И вот они в осажденном городе. Кормить их, видимо, нечем. Остались только клочки травы.

— Давно вы тут? — спросил Мерике-Люш у старой крестьянки, присевшей на корточки, чтобы разжечь костер.

Старуха посмотрела на него усталыми глазами и не ответила. Он тотчас понял, что вопрос неосторожен. Так мог спросить только тот, кто недавно попал в город. Мерике-Люш ушел, ухмыляясь. Забавное и жалкое зрелище: когда-то здесь устраивались парады, теперь возле гранитных плит, которые считаются историческими, бродит скот. Нет, не устоять городу!

Мерике-Люш шел мимо заколоченных, заставленных мешками с песком магазинов, мимо постовых, выставленных у каждого дома, но не видел больше ничего такого, над чем мог бы так же позлорадствовать, как на Марсовом поле.

7. В поисках надежного убежища

Постепенно, с большой осторожностью Мерике-Люш налаживал старые связи. Никто не знал, где он остановился, где ночует, когда и как предполагает выбраться из осажденного города.

Мерике-Люш сразу оборвал жалобы своих агентов на трудности. «Война! Солдатам труднее, чем вам!» — же-

стко отвечал он. Повиновение! Только слепое повиновение, награда за которое впереди! Они, его агенты, сами должны понимать, что ждать ее недолго, что город не сможет устоять — неужели они не видят этого?

Мерике-Люш чувствовал, что у всех этих людей засела одна и та же мысль, которую они не смеют высказать: не погибнут ли они вместе с городом или до того, как он падет?

Не все старые связи ему удалось восстановить. Не удалось узнать, куда делись его лучшие агенты: выловлены или удрали из города. Первых он не жалел, вторых ненавидел. С удравшими расправа будет жестокой: после войны их разыщут и в Сибири, и в Средней Азии, разыщут и уничтожат, как дезертиров.

— Мало от тебя пользы! — сурово объявил Мерике-Люш самому молодому своему агенту.

Тот растерянно пробормотал:

— Стараюсь...

— Нет, не стараешься, двадцать один! — тоном, не допускающим возражений, сказал Мерике-Люш. — Ведь ты уже получил награду!

Это было два месяца назад, в разгар наступления на Ленинград. Пленный оказался словоохотлив не в пример другим, которым даже побоями не развязать было язык. Этого не приходилось уговаривать. Он рассказывал много и охотно и все посмеивался при этом.

— Только не врать! — предупредил Мерике-Люш, присутствовавший на допросе. — За вранье получишь вот этого больше, чем за молчание! — Мерике-Люш помахал в воздухе гибким хлыстом.

— Да нет, господин, разве я... — Длинный белесый парень улыбался и отводил в сторону глаза. — Какие тут фантазии...

— Ну, признавайся, что́ там натворил? Где работал? — Мерике-Люш снисходительно протянул ему папиросу.

— Натворил? А ничего особенного не было. Ну конечно, были прогулы, то да се...

— Не любишь работать? Пить любишь? За девками бегал?

— Да... Почему не выпить и не погулять...

— В комсомоле был?.. Выгнали? Не скаль зубы, дурак! За что?

— Сначала простили. Потом опять прогул. И еще прогул. Ну... и драку по пьянке пришили: привод в милицию. Ну... придрались, что ремень приводной на барахолку утащил. А я в карты проигрался, долг платить надо было.

— Да, работник ты скверный. Нигде такого нельзя держать! Я бы тоже выгнал!

А парень снова улыбнулся, робко, искательно.

— Вот и судили. Вычитали из зарплаты. Кто-то в цехе посмеялся: «Это у тебя вычитают за двадцать одно».

— Как? — заинтересовался Мерике-Люш. — Почему двадцать одно?.. Карточная игра такая? Ага, понимаю. Ну и что же дальше было? Говори!

— Что говорить? Кличка пристала, дразнили: «двадцать одно» да «двадцать одно». Я еще тогда сказал: «Ну, отплачу я вам за двадцать одно и за суд!» Опять же, нет смыслу в окопе сидеть, еще убьет случаем...

— Вот теперь и можешь отплатить, — говорит Мерике-Люш.

Он думает о том, как расскажет историю этого пленного влиятельным друзьям, как те будут смеяться. Двадцать одно! А парень, видимо, дрянь порядочная. И трус. Такого легче держать на поводке.

— И у нас кличка тебе будет — «двадцать один».

Пленного учили обращению с радиопередатчиком. Такой аппарат он получит в городе у одного человека и будет корректировать огонь осадных орудий. Затем его зарегистрировали, и он поставил свою подпись. Потом ему объявили, что прострелят руку повыше локтя. Он ужасно трусил.

— Дурак, на фронте голову прострелят! А рука скоро заживет. Так надо. С этим тебе будет удобнее.

Пленному прострелили не руку, а плечо и руку и устроили побег. Но в Ленинграде в госпитале ему сказали, что перебит какой-то нерв, левой рукой он будет владеть плохо. Его списали из армии. В Ленинграде он разыскал человека, у которого получил рацию, и стал выполнять поручение, хотя и без старания. Плохой из него получился корректировщик.

— Какая же награда? — несмело пытается возражать агент. — Рука-то...

— А жизнь? Если бы не я, ты подох бы в лагере, как дохнут другие. Они листьям от бураков и то рады.

— Так ведь, если народ поймает меня за этим делом, разорвут на части!

— Молчать!

Таков был один из тайных агентов.

С другим агентом Мерике-Люш обращался несколько лучше.

Когда-то в старом Петербурге проживала семья домовладельца Тромпетера. Чтобы не лишиться своего имущества и не быть высланной еще во время первой мировой войны в далекий тыл, семья эта в полном составе отреклась от немецкого происхождения и отказалась от старой фамилии. «Тромпетер» в переводе на русский означает «трубач». Эти люди стали именоваться Трубачевыми. После войны и последовавшей за ней революции семья Трубачевых решила восстановить свою подлинную фамилию. Но лицо, связанное с германским консульством в Петрограде, посоветовало не делать этого. Пусть они останутся при своем новом имени. Надолго ли? Неизвестно. Но так они в будущем смогут оказать важную услугу своему отечеству, от кровной связи с которым малодушно отказались, и услуга не будет забыта. А жить в России под именем Трубачевых во всех отношениях удобнее. Тромпетеры забыты.

Однако Федор Трубачев, самый младший в семье, не мог забыть, что раньше его звали Теодором, что революция лишила его отца трех пятиэтажных домов. Он не мог примириться с потерей. Без них младший Трубачев не видел для себя настоящей жизни. Это и свело его еще до войны с Мерике-Люшем.

Он обрадовался, увидев его теперь в городе. Но это не помешало Мерике-Люшу отнестись к подчиненному строго.

— До меня дошли сведения, что вы, Трубачев, вели себя в последние дни перед войной как идиот.

— Что вы имеете в виду?

— Вы успели забыть? Мне передавали, что вы разгуливали в коричневом костюме, что смастерили головной убор, похожий на фуражку штурмовика. Правда?

— Правда.

— Так разве это не идиотизм?

— Да... Но мне казалось, что развязка так близка... Что все произойдет с молниеносной быстротой...

— Что все будет, как в сказке? Айн, цвай — и вы входите в ваши собственные дома и выкидываете оттуда тех, кто не может платить?

— И потом... Я думал, что это не заметят.

— Но это могли заметить. Такую штуку можно было выкинуть (также, впрочем, неумно) в Праге, перед тем как мы туда вошли без выстрела, но не в городе, который сопротивляется даже теперь.

Они сидели в пустом маленьком сквере возле Исаакиевского собора. Мерике-Люш огляделся. На площади пустынно.

— Гм... Они даже памятники собираются сохранить.

Справа на высоком постаменте стоял деревянный колпак, он прикрывал конную статую.

— Докладывайте, Трубачев! — приказывает Мерике-Люш.

И подчиненный рассказывает то, что знает о положении на электростанциях. Он служит на одной из них.

— Вас не собираются эвакуировать?

— Сейчас нет.

— Говорите только о фактах.

Трубачев сообщает, что город обслуживает одна старая электростанция, построенная еще в прошлом веке на Обводном канале. Волхов отрезан, Дубровка отрезана, и Свирь отрезана.

— Знаю, что все это отрезано. Но на Охте, на Охте новая станция. Как это?.. Заводь...

— Ее называли раньше Уткина заводь. У нее плохо с торфом.

— Но ведь могут добыть?

— Полагаю...

— Факты! Как с углем на Обводном?

— Очень мало. Осталось недели на две.

— Нефть? Мазут?

— На исходе.

— Как думают жить дальше?

— Есть еще дрова.

— Много дров?

— Вряд ли... Но их собираются заготовлять.

— Но где же теперь будут заготовлять?

— Леса есть на Карельском перешейке, в сто-

рону Ладожского озера. Туда ездили инженеры для осмотра.

— Вы точно знаете?

— Да, знаю.

— Нет, — после раздумья говорит Мерике-Люш, — этот резерв они не успеют использовать. У них не хватит времени.

Самым старым агентом был Мурашев. Старик почти не изменился с тех пор, как они виделись в последний раз. Он был все такой же крепкий на вид и аккуратный. И нисколько не убавилось в нем злобы к тому, что его окружало.

Но и Мурашев пожаловался на тяжелую жизнь.

— Кабы не ждал я другого, — говорил он, — то либо в петлю лезь, либо стреляй в них напоследок и сам пулю получай.

— Ну-ну! Нервы в порядке надо держать, — отвечал Мерике-Люш.

Старик ему нравился своей решительностью, огромным запасом неистраченной злобы. Такой без колебаний нажмет кнопку адской машины, которая взорвет весь этот город.

Старик осторожно осведомился о том, как Мерике-Люш выберется отсюда.

— Зачем выбираться? — ответил Мерике-Люш. — Здесь дождемся. Теперь уж недолго ждать. Разве не видишь?

Каждый день всюду, где удавалось побывать, Мерике-Люш искал, ловил признаки того, что ждать ему здесь действительно недолго. В булочных на одну чашку весов ложилась ничтожная гирька, а на другую — кусочек хлеба, уравновешивавший ее. 125 граммов... Самая низкая хлебная норма. А если хлеб получал человек, занятый тяжелым физическим трудом, на весы клали еще такую же гирьку. Хлеб был сладковат — в него примешивали целлюлозу.

Мерике-Люш заходил в темные, без света, дома. Лишь в немногих зданиях, находившихся возле хлебозаводов, он загорался ночью на два-три часа. Был выключен телефон, лопались водопроводные трубы, и улицы превращались в замерзшие озера. Один кинотеатр работал на Невском, но не каждый вечер. И не каждый сеанс удавалось довести до конца. По сигналу воздушной тревоги —

сигналы порой раздавались каждый час — зрители спускались в убежище.

В этом убежище оказался и Мерике-Люш вечером 6 ноября. Ему хотелось видеть людей отчаявшихся, парализованных страхом, с безнадежностью на лицах. Но в этот вечер ему пришлось собрать всю свою выдержку, чтобы не разразиться проклятиями, когда он увидел, что люди, собравшиеся в убежище, не такие: истощенные, но не озлобленные, не отупевшие. Он стиснул зубы, он готов был наброситься на них, когда услышал, как эти обреченные люди стали аплодировать.

Да, они аплодировали словам, которые доносило радио из Москвы.

«Оборона Ленинграда и Москвы, где наши дивизии истребили недавно десятка три кадровых дивизий немцев, показывает, что в огне Отечественной войны куются и уже выковались новые советские бойцы и командиры, летчики, артиллеристы, минометчики, танкисты, пехотинцы, моряки, которые завтра превратятся в грозу для немецкой армии».

Люди хлопали в ладоши, у них блестели глаза. Он не смог бы и притворства ради хлопать в ладоши. Он облегченно вздохнул, когда оборвалась речь из Москвы, когда хрип, свист, трещотки, завывания наполнили воздух. Это была завеса помех, поставленная походными радиостанциями немецких войск.

«Поздно спохватились!» — сердито подумал в убежище человек с документами на имя монтера Кайлиса.

Мерике-Люш знал, что в эти дни должно начаться решающее наступление армий фюрера на Москву. Одна-две недели — и все там будет окончено. И с Ленинградом будет покончено.

Ноябрь не принес взятия Москвы. Но зато здесь Мерике-Люш видел, как на санях подвозят к моргам умерших от голода. Именно этого он ждал. Но все-таки осажденный город держался. Непостижимо!

День за днем Мерике-Люш терял свою уверенность. Он менял квартиры, менял документы, он терял своих помощников. Город становился западнёй. И наступил такой час, когда Мерике-Люш пришел к пугающему выводу, что фюрер и его штаб — страшно подумать! — просчитались, что война, вопреки планам, затягивается не случайно. Неужели это победное движение от границ



Мерике-Люш стиснул зубы, когда услышал, как эти обреченные люди стали аплодировать.

Восточной Пруссии было порочным в своей основе, безнадежным, обреченным?

Из глубины Удельнинского парка Мерике-Люш по рации просил разрешения вернуться. Это были сигналы бедствия. Ему не отвечали. После поражений под Москвой там было не до него. О нем просто не думали, как не думает генерал о солдате, отставшем во время отступления. Уцелеет — дело его сноровки, а помощи ждать неоткуда.

И тогда Мерике-Люш понял: не было ясной цели у того, кто приказал ему отправиться в осажденный город. Начальник, получив разнос от вышестоящих начальников, жертвовал своим помощником.

Эта жертва — только ход в карточной игре. Надо показать, что разведка еще может помочь фронту. Агент проникнет в осажденный Ленинград, он принесет точные сведения о способности города к дальнейшему сопротивлению, он оживит деятельность агентов, оставшихся там.

Спросят ли потом наверху: вернулся ли этот агент, представил ли свой доклад? Неизвестно.

Приходилось думать об убежище более надежном, чем временные точки. И в поисках такого убежища он совершил промах, который мог оказаться роковым.

Это случилось в маленькой булочной на Выборгской стороне. Мерике-Люш присматривался к ней. Ему надо было узнать и сообщить, пошли ли в ход фальшивые продовольственные карточки, которые были сброшены на улицы города с самолетов. Он обнаружил, что затея не удалась. Как только она открылась, власти распорядились поставить на карточки новую печать, и коварная выдумка была обезврежена. Мерике-Люш смотрел, как получают хлеб. Очередь была небольшая.

— Встанем по стеночке, — предложила старая женщина.

Стена была опорой, которая сберегала силы истощенных людей. Месяц назад Мерике-Люш отметил бы это, как знаменательный признак. Теперь он и не подумал о такой мелочи.

Он свернул папиросу, воткнул ее в мундштук, вышел и остановился возле объявлений, наклеенных на щит, закрывавший окно булочной. Кто-то сообщал о своем желании купить лодку. Вероятно, он предполагал заняться весной рыбной ловлей и тем смягчить голодовку. Кто-то

предлагал семена свеклы в обмен на семена моркови. Значит, эти люди надеются дожить до весны, думают об огородах, о рыбной ловле.

Женщина средних лет, худая, бледная, но подтянутая, прикрепляла свое объявление. Она просила («добрых, отзывчивых людей») вернуть ей продовольственные карточки, потерянные в этой булочной или поблизости.

— На чудо надеетесь? — тихо спросил Мерике-Люш, выпуская дым.

Женщина вздрогнула:

— Но разве надеяться на честность — это ожидать чуда?

— Вам, вероятно, очень трудно?

— Как всем...

— Нет, вам теперь будет гораздо труднее, чем всем. До конца месяца осталось десять дней. Целых десять дней! Не могу ли я вам помочь?

При словах «целых десять дней» женщина опустила глаза.

— Но чем же? И... простите... кто вы? — проговорила она совсем тихо.

Мерике-Люш сказал, что он родом из города Острова, почти никого не знает в огромном этом городе. А это очень тяжело в такое время.

Так он приобрел новое знакомство и через час сидел в квартире Глинских. Из трех комнат две пустовали, в третьей лежал больной муж Глинской.

— Позвольте предложить вам... — Мерике-Люш положил на стол два пакета концентрата каши (продукты ему дали советские, трофейные, чтобы они не возбуждали подозрения).

— Позвольте... Но вы сами-то как? — Новые знакомые не решались принять подарок.

Мерике-Люш успокоил их. Он пойдет работать на лесозаготовки. У него есть продукты. Потом он сказал, что на его временной квартире от взрывов расшатались оконные рамы и в комнате гуляет ледяной ветер. Он остался у новых знакомых ночевать и затем исчез — почувствовал, что это убежище не будет надежным. Странно посмотрела на него Глинская, когда он вытащил из мешка банку сгущенного какао и мясные консервы.

В декабре Мерике-Люш снова встретился с Мураше-

вым. Ему уже трудно было говорить в прежнем, твердом и требовательном тоне. Агент сообщил ему, что теперь на заводе возятся с установкой маленькой блок-станции. Это же, как рассказывали, происходит и на других заводах по соседству.

— Если обзаводятся своими станциями, значит, думают работать, — сказал Мерике-Люш. — Что же предполагают делать?

— Да с фронта кое-что присылают. Разные починки, ремонт...

— Бывает что-нибудь еще?

Этот вопрос Мерике-Люш задал без всякой надежды получить важные сведения. Но ответы Мурашева заинтересовали его.

Зашел разговор о конструкторе Снесареве.

— Его не вывезли из города? — удивился Мерике-Люш. — Что же он теперь делает?

Спустя некоторое время Мурашев добыл первые сведения. Они позволяли думать, что русские замыслили ввести в бой небольшой корабль нового типа. Что же он собой представляет? Легкие крейсеры, эсминцы у русских есть, но этим кораблям негде развернуться. Им приходится оставаться на Неве или в Кронштадте. Что же это за корабль? У Снесарева такая репутация, что мелкое задание ему не поручат.

Мерике-Люш думал долго, вспоминал, анализируя факты. Для русских выгоднее всего заниматься рейдами, опираясь на те маленькие острова, что расположены возле входа в Выборгский залив. Какие же суда будут проводить рейды? Что-то вроде морского танка?..

Сумеют ли русские справиться с этим? Работа на заводах замерла. Да, замерла, но блок-станциями все-таки обзаводятся. Теперь Мерике-Люш понимал, что здесь могут быть неожиданности, очень острые.

«Что-то вроде морского танка...»

Ему вспомнился эпизод из прошлой мировой войны. Немцами были получены первые, не очень ясные сведения об английской боевой машине без колес, которую потом все, кроме Германии, назвали танком. Женщина, начальник группы немецких разведчиков, прозванная за жестокость Валькирией, приказала инженеру, прикомандированному к ней, изучить добытые материалы. Инженер пришел к выводу, что раньше, чем через год, англи-

чане не смогут выпустить такую машину. А спустя месяц произошел знаменитый танковый прорыв на Сомме. В день, когда германские солдаты панически бежали из окопов, Валькирия молча протянула провинившемуся инженеру заряженный браунинг.

Так было с сухопутным танком. Не станет ли неожиданностью подобие морского танка? Если Мерике-Люш принесет точные сведения об этом корабле, его возвращение из осажденного города будет оправдано. Тогда никто не скажет, что он дезертировал.

ВТОРАЯ ГЛАВА

1. Последняя надежда, последнее усилие

— Я не могу долго ждать!

Мерике-Люш опять отошел в тень — так, чтобы больной не разглядел его.

— Вам нечего ждать, — ответил Снесарев. — У меня нет сил прогнать крысу, нет сил разделаться с вами. И все-таки вы ничего не добьетесь!

— Когда надо, Снесарев, мы умеем не слышать оскорблений. Это просто отлетает от нас... Ваше упорство ни к чему не приведет. Вернемся к вашему кораблю. Я знаю, в чем особенность его конструкции. Здесь он не понадобится, не успеет вступить в борьбу. К весне ваших сил на Балтике не останется. Но на Западе он еще может нам понадобиться. Потому-то я и пришел к вам.

За окном снова послышался шорох.

— Кто вас спасет? Сердобольная девушка? Зачем вы осложняете мою задачу? Ведь я могу позаботиться о том, чтобы эта девушка больше не пришла сюда. Она выйдет из дома и не дойдет. Еще одна бесполезная смерть, не считая вашей. Вы в ответе за нее...

Незнакомец говорил спокойно, почти монотонно.

«Что надо сделать? Что сделать?» — мучительно думал Снесарев.

Ему представилось, что за Надей крадутся по темной лестнице. Выстрел, удар кинжалом — и Надя лежит на ступеньках. В доме почти никого нет.

— Все это бесцельный героизм, такой бесцельный, что я не могу даже посочувствовать вам. А задали ли вы себе один вопрос, Снесарев?

— Какой вопрос? — У Снесарева мелькнула мысль, что надо затянуть разговор.

Может быть, удастся что-нибудь предпринять? Он соберет силы и бросит в окно котелок, разобьет стекло. На улице, возможно, обратят внимание. Но Снесарев чувствовал, что незнакомец следит за каждым его движением.

— Вопрос не очень простой. Вы ценный инженер, у вас оригинальные мысли, вам поручали важные конструкции. Так почему же они допустили, чтобы вы оказались в столь беспомощном положении? Равнодушие к вам?

— Мне тяжело, как и всем...

— Но вы не такой, как все. Если вы так нужны, то имело бы смысл убить двадцать человек, чтобы сохранить жизнь господина Снесарева.

— Я не ослышался?.. — Даже теперь эти слова показались Снесареву какими-то невероятными. — Убить двадцать человек? За что?

— Уточню. Не за что́ их убить, а для чего — так поставим вопрос. — В голосе незнакомца зазвучало самодовольство. Вероятно, он повторял мысли, которые считал своими собственными. — Да, убить двадцать человек и сохранить вас. Отнять у них жалкие пайки и отдать вам. Мало ли в городе ненужных людей? Настоящий властитель, Снесарев, не глядит на второстепенное! Пусть по сторонам падают люди, он не видит этого.

— Да, — вспомнил вслух Снесарев, — когда челюскинцы попали в беду, нацистские газеты писали, что челюскинцы должны выделить сильного вождя. Он выведет других сильных, а об ослабевших не стоит думать.

— Я вижу, что эти мысли слишком новы для вас. Вы должны пройти нашу школу, чтобы привыкнуть к ним. Но, я надеюсь, вы пройдете такую школу.

— Пройти вашу школу? Мне?

— Вы возражаете мне, дерзите! Может быть, вы хотите подольше поговорить? В вас пока больше осталось жизни, чем я думал. Придется ее убавить. Я лишаю вас пищи, скудной пищи, даров этой доброй девушки.

Мерике-Люш опорожнил котело́к, выложил кашу в газету, сунул пакет в свой мешок, взял хлеб, луковицу,

кусок сахара. Он взял со стола пузырек с растительным маслом и покачал головой:

— Я видел, как девушка это масло выменяла на папиросы. На базаре. Там продавали сладкую сажу. Это остатки сахара, который сгорел на складе от нашей бомбы. Я покажу эту сладкую сажу у нас, когда вернусь,— след отличной работы наших бомбардировщиков.

— Нет, не придется вам показать ее там...

— Вы, вероятно, запомнили этот день?

Да, Снесарев надолго запомнил этот зловещий день — один из первых дней осады. Вражеские бомбардировщики точно вышли на цель. А целью были продовольственные склады на Обводном канале. Тотчас со всех ближних заводов устремились на помощь. Помнит Снесарев, как возле горящих складов старый мастер Сергеев мочил в бочке с водой мешки и раздавал их комсомольцам. Накрывшись мокрыми мешками, эти парни вбегали в дым, в огонь. Обожженные, они выносили ящики, кули. И помнится, что прямо из ворот, окутанных едким дымом, выехал грузовик с этими ящиками. На носилках выносили обожженных.

Пожар продолжался до ночи. Горела сухая тара. Далеко был освещен город. Снесарев возвращался домой на трамвае. Он вышел на переднюю площадку. Вагон шел по сплошной светлой полосе. Вожатый угрюмо молчал. Раздались звуки сирены. На освещенный пожаром город летели «Юнкерсы» с фугасами.

— Если в городе продают сажу, то ему нет спасения, и человек, которого называют шпионом, может как хозяин распоряжаться у вас в комнате, Снесарев.

— Вы не уйдете из города. Сюда вы могли пробраться. Но отсюда...

— Я вам больше не отвечаю. Я мог бы выпустить тепло из печки, но это вас убьет за ночь. А мне нужно, чтобы ночь эту вы прожили. Мне нужно, чтобы вы спали до утра. Не пытайтесь сопротивляться...

Незнакомец вынул из кармана маленькую никелированную коробочку, открыл ее и подошел к постели. В руках у него был шприц.

На голову Снесарева легла подушка, и тотчас он почувствовал острую боль от укола. Прошло несколько мгновений. Снесарев сбросил подушку. В комнате было темно. Хлопнула наружная дверь.

Снесарев схватился за угол стола. Там лежали спички. Он обшарил весь стол, но не нашел коробка.

«Морфий?» — подумал Снесарев.

Еще минута-две, и мягкое оцепенение, которое уже начинает туманить голову, распластает его на кровати в глубоком беспомощном сне. Незнакомец не рылся в бумагах — он спешил. Что-то сорвало его с места. Но к утру он может вернуться. Сон к этому времени не пройдет. Шпион будет рыться в бумагах. Правда, это только эскизы, но и они не должны попасть ему в руки. И Надя... Надя... что с ней будет?

Снесарева лихорадило. Еще минута, и он потеряет сознание. Кровь пульсировала в висках. Снесарев заскрипел зубами от ярости. И ярость помогла ему. Он рванулся с кровати. Он задыхался от неимоверного усилия. В полной тьме нашел книжную полку. Чуть виднелось окно. Снесарев бросился к окну, распахнул форточку, схватился за конец оборванного провода.

«Скорей! Скорей! Ну же!» — шепотом приказывал он себе.

Он натыкался на углы, оттолкнул стол, застонал. Ветер ворвался в комнату. Как сквозь сон, он услышал, что форточка захлопнулась со стуком.

У него еще хватило силы отойти от окна. По сторонам будто вспыхивали ослепительные огни, но он не видел даже стен своей комнаты.

Он упал возле остывающей печи и, падая, скользнул рукой по полушубку, свесившемуся со стула, натянул его на себя, и тотчас наступило беспамятство.

2. Листки в томах энциклопедии

Наклонившись над кроватью, майор Ваулин записывал показания Снесарева. Майор уточнял детали. Надо было торопиться. У подъезда ожидал мотоцикл с прицепом. Майор приехал по телефонному вызову главстаршины Белякова.

— Он говорил долго, — рассказывал Снесарев, — и я не мешал ему. Я все надеялся, что вдруг кто-нибудь придет, что послышатся шаги на лестнице.

— А к вам приходят?

— Днем. По вечерам я оставался один.

— Значит, он следил несколько дней и установил это.

— Вероятно. И все-таки он торопился, словно вот-вот... Почему он так торопился?

— Этого мы с вами еще не знаем.

— А узна́ем?

— В нашем деле трудно предсказывать.

Ваулин растер застывшие руки, поправил сползавшее одеяло Снесарева, укутал ему ноги и снова взялся за карандаш.

— Он почему-то не дождался, пока я усну. Или он был уверен, что сон наступит сразу после укола? Или его вспугнули? Он будто сорвался с места. Что же он впрыснул мне?

— Это придется узнать у него.

— А потом я мог сделать только одно. Вот это...

На столе рядом с бумагами майора лежали сигнальная папка Миши Стрижа и его морская командирская фуражка. Старшина Беляков снял их с конца провода.

— Проволока все время скребла о стекло, — продолжал Снесарев. — И каждый раз он вздрагивал. Я это видел даже в полутьме. Чувствовалось, что нервы у него на пределе. Он мог убить меня и все-таки трусил. Я почему-то был уверен, что сразу он меня не убьет, что он вернется. Я знал, что на улице патрулируют моряки. Если не один, то другой моряк прочтет сигнал. А чтобы было приметнее, я повесил и фуражку. Это фуражка Миши Стрижа. Больше всего я боялся, что у меня не хватит сил. Укол начал действовать. Я бы год жизни отдал за лишнюю минуту. Сначала я бросился к полке...

— Записи?

— Да, мои бумаги. Они в томах энциклопедии. Посмотрите, пожалуйста. Нет, он не мог догадаться, что они там лежат. Но все-таки посмотрите.

Майор снял книги с полки, положил на стол и стал поочередно перелистывать. Он протянул стопку листков Снесареву:

— Эти?

— Да.

— Все листки?

— Есть еще несколько под матрацем.

— Почему они там?

— Я работал тайком от Нади. А когда услышал, что она идет, спрятал их.

— Да... Но неосторожно было держать это здесь.

— Ведь это только наброски. Но я понимаю — действительно неосторожно.

— Но как у вас хватило сил проделать все это, товарищ Снесарев?

— Не знаю. Не могу ответить, товарищ Ваулин. Помню только, как я отошел от форточки, а дальше ничего... Думал: «Если он придет утром, убьет меня, то вряд ли догадается перелистать тома энциклопедии».

— Вы можете описать его внешний вид? Черты лица?

— Он все время держался в тени. Лишь одну секунду я видел его. Высокий, худощавый...

— Так. А какой голос у него? Говорит он по-русски чисто?

— Довольно чисто, но, я бы сказал, деревянно.

— Деревянно?

— Да. Старательно выговаривал все буквы. Все правильно, но мы так по-русски не говорим.

— Не вспомните ли, давно эта рамка лежала на полу?

— Какая рамка?

— Для фотографий.

Майор протянул ее Снесареву.

— О нет! — Снесарев попытался приподняться, опереться на локти, но, почувствовав страшную слабость, сразу же опустился. — Рамка висела над кроватью.

— Пустая висела над кроватью?

— Пустая? Нет, в ней была фотография. Я снят с дочуркой, с Людмилой.

— Фотографии нет. Он ее вынул из рамки... А сахар почему на полу?

— А-а... Наверное, уронил его. Он унес всю еду, какая была у меня, чтобы я не ел еще сутки, чтобы после сна был слабее.

— Кусок погрызен.

— Крыса погрызла. Он вспугнул ее. А потом она, должно быть, опять прибегала, когда я лежал без сознания.

— Не буду вас больше утомлять. Думаю, он уже знает, что дорога сюда для него закрыта. Жаль...

— Опасный, должно быть?

— Да, по всем признакам, очень опасный, хотя и с развинченными нервами. Но это вы сами поняли. Ну, поправляйтесь. Мы еще увидимся.

Майор простился. Внизу затарахтел мотоцикл.

3. Верна ли догадка?

«Пикап», крытый темным брезентом, выехал за город. Начиналось утро, безветренное, очень холодное, с бледным безоблачным небом и багровым рассветом, утро ранней зимы 1941 года, зимы без оттепелей и обильных снегопадов.

Окончились дома охтинских предместий. Улица незаметно перешла в загородное шоссе, которое уходило в поля, под пролеты железнодорожных мостов. По сторонам темнели покосившиеся плетни огородов, в которых осталось очень мало жердей, поваленные снежные щиты, груды нарезанного торфа, сложенные как могильники, и одинокие трубы кирпичных заводов, похожих на большие сараи.

За городом посередине дороги тянулся горбатый снеговой гребень, который ругали водители, — здесь машину при быстрой езде можно запросто посадить на дифер. По сторонам гребня укатаны глубокие оледеневшие колеи. Дорога шла виражами, с унылыми ветлами по бокам.

Несколько раз машина останавливалась у контрольных постов — их было немало. Ваулин выходил из кабины, подзывал к себе начальника поста, красного от крепкого мороза, с инеем на ресницах, негромко говорил с ним.

Этими короткими остановками водитель пользовался для того, чтобы протереть ветровое стекло. Но стоило только отъехать дальше, как стекло снова покрывалось ледяной пленкой.

— Не работает мой «дворник», — ворчал водитель, — совсем вышел из строя! А новый где добудешь?

— Если я задремлю, — сказал Ваулин водителю, — а мы будем подъезжать к контрольному посту, сразу растолкай меня. Ни один пост нельзя пропустить.

Майора неудержимо клонило ко сну, но едва только голова опускалась и начинался приятный полет в без-

донную пустоту, как он вздрагивал, заставляя себя выпрямиться, отогнать дремоту.

Ваулин не ложился уже двое суток. Двое суток он разыскивал незнакомца, нащупывал след. Десятки догадок рождались и тотчас отмирали. Ваулин отбирал две-три, проверял их, пользуясь теми немногими подробностями, которые ему были известны. И вот вместо этих двух-трех догадок, вместо одной, которой Ваулин уже начинал верить, открывалась пустота, и все начиналось сызнова. Опять возникали заманчивые догадки, и каждая звала за собой, опять производился безжалостный отбор, и снова все распадалось.

Совсем ушел незнакомец или затаился, пережидает? Если пережидает, то, разумеется, не там, где прятался раньше. Но у того, кто дрожит от страха, когда оборванная проволока скребет о стекло, пожалуй, не хватит выдержки ждать. Он мог уйти.

Куда? Прямо на запад? По кратчайшей дороге к своим, куда до войны ходили трамваи? Нет, не было ему пути через короткую линию фронта, протянувшуюся от залива до первой станции за Ижорским заводом на перерезанной Московской магистрали. Это узкое пространство для него неодолимо. Там днем и ночью, в туман и в дождь войска неослабно охраняют каждый метр. Каждый шаг по снегу — след, который откроет его.

Недавно группа молодых лыжников, совершавших рейд по тылам врага, на обратном пути пересекла эту линию фронта. Они, великолепно знавшие местность, благополучно миновали боевое охранение противника и были тотчас обнаружены нашим охранением. Нет, он, этот неизвестный, напрямик не пойдет. Ему надо петлять.

Как бы он поступил осенью? Постарался бы смешаться с теми, кто шел строить укрепления. Такие случаи бывали. Может быть, теперь он попробует затеряться среди тех, кого перевозят на машинах через Ладожское озеро и эвакуируют на Восток по этой единственной ниточке, связывающей осажденный город со страной? Несомненно, у него есть хорошие документы и не один комплект. Нет, и такой путь малоправдоподобен. Из города вывозят слабых и больных, а он крепок. И отбор очень строг. Не рискнет... Вероятнее всего, он попытается пробраться к своим кружным маршрутом, но здесь, в осажденном районе.

Да, медлить нельзя... Ваулин снова перебирает в уме факты, которые могут навести на след если не самого незнакомца, то хоть его связей, которые что-то подскажут.

Вот по другую сторону стола арестованный. Он механически, безучастно отвечает на вопросы. Надо еще и еще раз повторять вопрос, задавать его в другой форме. Допрашиваемому двадцать пять лет, у него безжизненные глаза, тихий голос. Но вчера, когда его задерживали, он исступленно расшвырял несколько человек.

Рано утром заводской сторож спустился в заброшенный подвал (думал найти остатки угля, лежавшего здесь до войны) и услышал приглушенный голос. Сторож прислушался и удивился. Невидимый человек повторял, выдерживая паузу: «Раз... два... три...» Сторож махнул было рукой, но подумал и, тихо ступая на подшитых валенках, сходил за начальником военизированной охраны. Спустя минуту из подвала вытащили сопротивлявшегося человека. Пришлось позвать на помощь. Задержанный кричал, что всем будет капут, что он всех своими руками, всех... Его свалили, связали, а он все еще кричал, хрипел, проклинал... В подвале нашли передатчик. «Раз... два... три...» — это была настройка аппарата на определенную волну. Корректировщик наводил на цель дальнобойные батареи противника, обстреливавшие город. И вот он, знакомый многим на заводе, лежал связанный.

В тот же день Ваулин допрашивал его:

— У вас была кличка «Двадцать один»?

— Да.

— Вы судились за воровство?

— Судился...

— Вы говорили, что отомстите?

— Не помню... Может быть, и говорил...

— Как у вас оказался передатчик?

Задержанный рассказал о плене, о своей ране, о предложении, которое он принял.

— Вы потом встречали этого человека?

— Да.

— Где встречали?

— Здесь, в городе. Две... или три недели назад...

Ваулин помедлил.
— Где вы встречались?
— На улице.
— А где он жил здесь?
— Не знаю. Он запретил мне разыскивать его.
— Как его звали?
— Не знаю.
— Как вы его называли?
— Там — господин...
— А здесь?
— Никак. Он меня спрашивал, я отвечал.

Арестованного увели. Ваулин достал дело, которое относилось к сентябрю, дело трех германских офицеров, проникших в город в разгар наступления. Они были задержаны патрулем на Невском, когда пытались наклеить на щит фальшивый номер газеты «Ленинградская правда» с провокационными сообщениями. Они отстреливались, но были разоружены. Ваулин поочередно допрашивал их. Они держались нагло. Но через несколько дней от молодечества не осталось и следа. И один из них, дав подробные показания, сообщил, что по ту сторону линии фронта среди офицеров разведки, которые курируют (он так и сказал: «курируют») Ленинград, имеется некий Мерике-Люш. Насколько ему известно, Мерике-Люш давно занимается Ленинградом и теперь при случае перебрасывает сюда своих агентов.

«Неужели это тот самый Мерике-Люш? — раздумывал Ваулин. — Хотя имя вряд ли настоящее. У таких всегда бывает по нескольку имен».

Тогда были записаны со слов пленного офицера приметы Мерике-Люша. Они совпадали с тем, что говорил о нем Снесарев. И корректировщик подтвердил — да, высокий, худощавый. Но мало ли в Германии высоких, худощавых людей? Механическая чистота речи, деревянный язык...

Вот другая папка, совсем недавняя. В ней записан рассказ учительницы Глинской. Имели ли эти показания прямое отношение к тому делу, которым теперь был занят Ваулин? Рассказ Глинской короток. На улице она разговорилась с человеком, которого прежде не знала. Случилось так, что он зашел на квартиру, ночевал. Он возбудил у них неясные подозрения. После ночевки он почему-то ушел и больше не появлялся. И еще — у него

в мешке были продукты, видимо много продуктов, очень редких теперь... И это никак не вяжется с его рассказом о себе.

— Мария Федоровна, извините, что я вас вызвал, — говорил Ваулин через два дня. — Но это совершенно необходимо. Надо кое-что уточнить.

— Ничего, пожалуйста. Спрашивайте.

Ваулин взглянул на Глинскую. За эти дни в ней произошла перемена. В первый раз перед ним сидела очень утомленная женщина, которой, как и всем, пришлось очень тяжело. Сегодня на него смотрели глаза человека в глубоком горе, полные скорби. Не надо спрашивать о причине. Глинская потеряла мужа — Ваулин понял это с первых слов.

— Да, теперь я одна. Утром сложу необходимое на салазки, запру квартиру и отправлюсь в школу. Там теперь для меня и работа и дом...

— Я все по поводу того дела, Мария Федоровна. Можете вы дополнить ваше заявление? Подробностями, если вы их помните, живыми чертами. Они нам иногда очень помогают. Как он говорил по-русски? Чисто?

Глинская припомнила, что говорил он чисто. Но в интонациях, в строении фраз пропадало ощущение живой русской речи.

— По-русски он говорил чисто, но это не значит, что свободно.

— Механическая чистота?

— Да-да! — Глинская несколько оживилась. — Именно механическая чистота. Вы это правильно назвали.

«Не я назвал, — подумал Ваулин, — а Снесарев. Он-то слышал его».

— Мария Федоровна, а почему все-таки вы вдруг сказали себе: это чужой человек?

— Мне трудно ответить. Мы с ним говорили о разном. О его семье, которая теперь неизвестно где, о том, как жили раньше. И вот наступила минута, когда мы...— Глинская помедлила. — Когда я и... Андрей Сергеевич оба почувствовали: этот человек не только говорит, но и думает по-чужому. Простите, я ничего больше не могу вспомнить. И вы же знаете — он ушел так странно. Не ушел, а исчез, хотя и не собирался уходить. Он даже вызывался помочь нам.

— Он не говорил вам, что собирается уехать?

— Он сказал, что собирается переждать здесь, а потом уже будет разыскивать семью. У домоуправа нашего документы отметил на имя Кайлиса.

— Но что он собирался делать?

Глинская подумала, прежде чем ответить. Незаметно для себя она теребила седую прядь, выбившуюся из-под вязаной шапочки.

— Мне кажется, он сказал, что наймется на лесозаготовки, что он достаточно здоров для этого.

— Наймется? Это не ваше слово, Мария Федоровна.

— В самом деле...

— Прошу вас, постарайтесь вспомнить точно, говорил ли он о лесозаготовках.

— Говорил.

— И сказал, что наймется?

— Да, сказал. Теперь я вспомнила точно.

— Простите, если я вас утомил. Возможно, мне придется снова побеспокоить вас. Значит, вы теперь постоянно в школе?

— Да, вы меня всегда там найдете. Это на площади возле Исаакиевского собора...

— Знаю, в доме, где «два льва сторожевые».

Глинская ушла. Теперь ее вызов нужен был только для очной ставки с неизвестным. Но состоится ли эта очная ставка?

Спустя полчаса Ваулин был на Невском проспекте в доме, где в старые времена помещался иностранный банк. Здесь расположилось бюро по вербовке добровольцев на заготовки леса. Электрический свет не горел и здесь. На мраморные, давно не мытые ступени широкой лестницы, на стены коридоров падал тусклый отблеск скупо развешанных маленьких керосиновых ламп — такие когда-то освещали кухоньки дешевых квартир.

В коридорах слышались молодые голоса. На скамейках сидели студентки, сотрудники закрывшихся учреждений, рабочие замерших заводов. Если бы не полутьма, не глухие орудийные раскаты, изредка доносившиеся снаружи, можно было подумать, что война не подступила к городу. Но стоило вглядеться в лица, и становилось видно, как исхудали эти люди на блокадном пайке, как убавилось у них силы. И все же много бодрости принесли они с собой в этот дом на Невском.

— Ах, девушки, девушки! — слышался голос человека постарше. — Да знаете ли вы, какая это работа?

— Ну, мы не первые девушки там будем. Первые поехали недели три назад. И не слышно, чтобы назад сбежали. Давайте договор на соревнование заключим.

— Смеетесь? Валенки-то по крайней мере у вас есть?

— Добыли.

— Значит, форма одежды соблюдена. Ох, сила!

— Да ты не очень-то шути, дядя! — Перед пожилым человеком очутилась рослая, широкоплечая девушка в ватнике. — Еще вопрос — поставят ли тебя на валку и пилку. Может, кашу варить для нас будешь. Смотри, чтобы хорошая была!

— Откуда ты такая?

— Нинка! — Другая девушка положила подруге голову на плечо. — А помнишь, тут, внизу, до войны музыка... и лучшее, самое лучшее мороженое в городе?

— Угу... Ромовое, фисташковое, сливочное. Но самое лучшее было абрикосовое.

— И белый медведь на витрине.

— Все будет — и медведь, и ландыши, и фисташковое! И музыка! Все вернется, Натка!

— На сколько же мы старше станем?

— Ничего, ничего, девушки, на ваш век всего хватит. Вот только напротив-то... Гостиный... Все дымит.

Несколько дней назад загорелся Гостиный двор. Пожарные не могли сбить пламя — вода не подавалась, трубы замерзли. Теперь пламени уже не было, но выгоревшие постройки продолжали дымить.

— И вот часы на башне. Сколько лет я на нее смотрел! По ним свои карманные сверял. А теперь черная дыра.

В одну из первых бомбежек от взрывной волны вылетели часы, по которым прохожие издавна сверяли время.

— Вы, девушки, может, не знаете про башню. Знаменитая — про нее-то и пелось: «На Невской башне тишина...»

— Из медицинского института кто?.. Пройдите в кабинет. Кто из Педагогического института имени Герцена? С фабрики «Работница» есть?

В это время Ваулин просматривал регистрационные карточки всех, кто прошли через это бюро.

Предстояла кропотливая работа. Ваулин и не рассчитывал найти в регистрационных карточках имя Кайлиса. Так оно и оказалось. Человек с именем Кайлис сюда не заявлялся.

Вечером, когда зажглось электричество — это означало, что по соседству начал работать хлебозавод, — перед Ваулиным лежал десяток отобранных карточек. К полуночи электрический свет погас, пришлось снова зажечь керосиновую лампочку. Из десяти карточек теперь оставались три. Ночью Ваулин, сдав материалы дежурному сотруднику, вернулся к себе. Дежурный вспомнил об одном из посетителей, который вчера появился здесь. Он, этот посетитель, был несколько сумрачен, на вопросы отвечал коротко, без лишних слов. Да, в его речи чуть-чуть звучал, пожалуй, какой-то акцент. Нет, по документам не было видно, что он из Острова...

— Не это ли его карточка? — Ваулин показал на одну из трех, оставшихся после строжайшего отбора, потребовавшего нескольких часов раздумья.

— Кажется, эта... Весьма возможно, что эта.

«Весьма возможно»... Более точного ответа нельзя было требовать от сотрудника.

Оставалось ответить себе на один вопрос.

Почему же неизвестный сказал Глинским, что, может быть, отправится (наймется) на лесозаготовки? Зачем было открывать это?

Оставалось предположить, что это была мимолетная слабость растерявшегося человека, который метался в осажденном городе, терял контроль над своими поступками. Часы в квартире Глинских для него были часами отдыха. Он ослабел, он сказал лишнее. А ночью вдруг почувствовал, что убежище не будет для него надежным, и исчез.

На все участки фронта сообщили о вражеском агенте. А Ваулин отправился разыскивать его в том направлении, которое считал наиболее вероятным.

Дорога, по которой шел «пикап», крытый темным брезентом, становилась оживленнее. На ней было гораздо больше движения, чем в осажденном городе. Со сто-

роны Ладожского озера неслись, слегка накренясь в глубоких колеях набок, грузовые машины. Водители глядели по сторонам, как новые в этих местах люди. Да они и были новыми здесь. Машины издалека шли в Ленинград. Они пересекли замерзшее Ладожское озеро. На борту машин виднелась большая надпись: «Не задерживать». Эти везли продовольствие в Ленинград. Другие вливались в общий поток сбоку, со стороны леса. Там находились тылы фронтовых частей, расположенных на Карельском перешейке.

«Пикап» жался к краю дороги. Раза два водителю показалось, что Ваулин дремлет, и он протягивал к нему руку, но майор говорил: «Нет, нет, ничего. Давай-ка еще проскочим и газанем».

Редко водителю удавалось развить большую скорость. Не было конца машинам с продовольствием. У контрольного пункта Ваулин увидел группу молодежи, шедшую по дороге пешком.

— Куда они? — спросил Ваулин у бойца, проверявшего документы.

— На лесозаготовки, товарищ майор.

— Все молодежь?

— Молодежи там много.

— А бывают и постарше?

— Редко.

— И все пешком идут?

— Когда на машинах отправляют. Вчера вот ехали они на машине. И, как на грех, поломка. Долго они тут ждали, костер развели. Один даже на лыжах хотел пойти.

— А у них лыжи были?

— У одного только были. Но он на них не пошел. Тут машины в ту сторону поехали, мы их рассадили.

Ваулин подумал и спросил:

— А тот с лыжами молодой тоже?

— Да что-то и не помню, товарищ майор. Столько народу каждый день пропускаешь. И закутаны все...

— Не в меховой куртке этот был?

— Нет, в меховой куртке тут никого не было. Это заметная вещь, ее упомнить можно. Я сам ее до войны носил. Нет, в меховых куртках никого не было.

Ваулин поехал дальше.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

1. Точка спасения ослабевших

Снесарева перевезли на завод. В нижнем этаже, в конце коридора, там, где прежде помещался плановый отдел, была оборудована комната для больных. Ее называли стационаром, но дощечка планового отдела так и осталась на двери.

В комнате стояло десятка полтора железных коек, в углу топилась кирпичная времянка, на которой медсестра варила обед. Остатки подогревались на ужин. Больные получали манную кашу, суп с мясными консервами, рюмку красного вина. Комнату освещали старой лампой. Керосин приходилось экономить, фитиль наполовину прикручивали, и от окна к двери плавали тени.

Здесь всегда было тихо. Люди молча ели, мало говорили друг с другом. И спали, спали подолгу. Сестра осторожно будила их, когда время подходило к обеду, к ужину: «Ну-ну, миленький, хватит пока. Потом еще поспите на здоровье».

В своих соседях Снесарев узнал инженера-механика, двух сборщиков, кузнеца, о котором много писали в газетах. Все это были «коренники» старого судостроительного завода.

— Что с Надей? — спросил Снесарев сестру.

— Сегодня была у нее. Ничего, лучше ей стало. Вот только микстуру нельзя ей приготовить.

— Почему?

— Все есть, воды нет.

— В аптеке?

— Чему вы удивляетесь? Надо перегнать воду, а на чем перегонишь? Ну, ничего. Встанет она и без микстуры.

Эту сестру, высокую и худощавую, никогда не видели усталой.

— Вам прислали, товарищи! — объявила она, показав большую белую коробку. — Теперь дело пойдет! Тут миллионы калорий. Только что с самолета.

В белой коробке были ампулы с глюкозой.

— А ну ее! — Долговязый кузнец отказался было от впрыскивания.

— Ну-ну, миленький, без капризов! — приказала сестра тоном, не допускающим возражений.

И кузнец, тотчас покорившись, протянул жилистую руку.

— А согревает, сестра, эта штуковина! — говорил он после впрыскивания.

— Еще бы! Всех поставим на ноги!

— Слушайтесь ее с первого слова! — говорил врач, старый низенький человек с багровым, обмороженным, распухшим носом. — В таких чрезвычайных обстоятельствах она больше может сделать. Агния Семеновна — решительная особа. Ей бы по меньшей мере ротой командовать.

При обходе он задержался возле кровати Снесарева и спросил шепотом:

— Ну как история вашего усыпления? Разгадана?

— Нет, еще не разгадана. — Снесарев улыбнулся. — И об этом, знаете ли, доктор...

— Молчу, молчу. Нем! И не любопытствую больше.

А по глазам, над которыми подрагивало пенсне, было видно, что старик очень любопытствует. Вызов к Снесареву был самым необычным в его жизни.

Спустя день поставили еще одну кровать — для врача. Он также слег. Залезая под одеяло, он, вздохнув, объявил:

— Врачу, исцелися...

Теперь Агния Семеновна неограниченно управляла стационаром.

— Что? Встать хотите? — накинулась она на Снесарева, когда он заявил, что его можно выписать. — Нет, голубчик! Насквозь вас вижу. Не выпущу. Вот кузнец с механиком захотели вчера в козла сыграть. Это симптом. Значит, им скоро можно уйти. А ну, скажите мне что-нибудь смешное!.. Нет ничего? Не выходит?

— У меня и раньше не выходило. Нет чувства юмора, честное слово!

— Лежите, лежите. И спите, спите! Сон — это дополнительные калории.

2. Мастер-универсал

Спустя несколько дней Агния Семеновна позволила Снесареву выйти на часок. Она проследила за тем, как он оделся, закутала шею шерстяным шарфом. Снесарев отправился побродить по заводским дворам.

Со взморья, поднимая колючую снежную крупу, дул пронзительный ветер. Во дворах никто не попадался навстречу. Даже не было следов на снегу. Только вдали, возле рельсов, маячила фигура караульного в огромном тулупе, она казалась неживой. По всему было видно, что работа на заводе остановилась внезапно — в ту секунду, когда выключили свет. Возле стрелки замер электровоз с тележкой-прицепом, нагруженной деталями. Теперь он под плотной ледяной коркой — ее нанес шквальный морской ветер. Подальше у берега стоял плавучий кран. Опустив огромный крюк, он словно хотел разогнуться, да не смог и замер в тяжелом раздумье. В низкой стене старого цеха чернел широкий пролом — след прямого попадания снаряда. Возле этой стены Снесарев уловил звук какой-то работы и повернул туда. Он пришел к машинному отделению, открыл дверь. Внутри было темно.

— Есть тут кто? — спросил он с порога.

— Живем помалу. Входи. Холоду не напускай, — неторопливо ответил ему знакомый голос. — Кто такой? Откуда? Не узнаю что-то.

Снесарев осторожно спустился по узким ступенькам, присмотрелся. В углу копошились несколько человек.

— Пахомыч?

— Я. Пойдем-ка к печке.

В багровом мерцании угля Снесарев разглядел лицо Пахомыча, покрывшееся беспорядочно разросшейся, сбившейся, как пакля, бородой.

— Лабзин, есть у нас чем угостить гостя?

Другой человек, которого Снесарев сначала не разглядел, ответил сиплым тонким голосом:

— Две штуки всего и осталось.

— Две штуки? Я свою долю не брал. Давай ее сюда. На угощение конструктору пойдет.

Лабзин, худощавый, длинный, как жердь, стал шарить в золе щипцами и вытащил маленькую, как мандарин, картофелину.

Пахомыч протянул ее Снесареву:

— Подарок Лабзина. Притащил нам откуда-то десяток. Роскошная штука. Редкая, как прежде ананас. Не мерзлые. Ну, с выздоровлением тебя. Я уж у этой Агнии несколько раз спрашивал.

— А чего не заходили?

— Заходил, да ты спал, как в люльке. До чего же я рад тебе, конструктор, сказать нельзя!

— Спасибо. А вы не болели?

— Удержался на ногах. С тех пор не болел больше. Расчету нет.

В середине июля Пахомыч, совершенно больной, явился на завод. На заводе тревожились за его судьбу и уже начинали думать, что старик пропал без вести. По годам Сергей Пахомыч Селезнев не был стариком. И если о нем говорили: «наш старик», или «старик Пахомыч», или (это исходило от молодого инженера-острослова) «наш классический судостроительный старик», то имели в виду не возраст Пахомыча. Если решали, что «надо посоветоваться со стариком», то думали не о старости Пахомыча, а о замечательном опыте, которым он всех превосходил на заводе.

Казалось, мало одной обычной годами жизни, чтобы у человека появился такой опыт, такие знания, или, как сказал академик-математик и судостроитель, авторитет, неоспоримый во всем мире, — «такое чувство корабля, чувство всех его частей». Сколько раз бывало, что, ставя на капитальный ремонт корабль, вспоминали о Пахомыче, хотя ремонтом судов он не занимался. Кроме официального паспорта, который сопровождает каждую машину, каждый корабль, был еще неписаный паспорт — его Пахомыч хранил в памяти. Он мог рассказать, какие свойства были заложены в корабле и на что следует обратить особое внимание. Ни один корабль, построенный при нем, он не выпускал из своей памяти.

У этого мастера была одна слабость, в которой он, видимо, не сознавался сам себе: если Пахомыч начинал рассказывать о прошлом (а это мастер любил), то всегда получалось, что он был знаком, и знаком близко, с Петром Акиндиновичем Титовым.

— Нашего полку был, — вспоминал Пахомыч. — Подручным на завод пришел. Еле грамоту знал. За полтинник в день спину гнул. А каким инженером стал! Самые трудные проекты составлял. Дипломного образования не имел, зато умение и глаз! Что прикинет на глаз — по точным расчетам проверяли. Профессора приезжали проверять. И обязательно сходилось. Говорили, что это у Петра Акиндиновича от природы.

С одним из этих профессоров, рассказывал Пахомыч,

Титов в зрелые годы засел за науки. В два года он одолел то, что другие изучали десять лет. Но занятия держались в строгом секрете. Опасался Титов, что люди смеяться станут. И только один человек (кроме профессора) был посвящен в тайну Петра Акиндиновича — он, Пахомыч, в то время молодой парень.

— И чай я ему носил, бывало, когда он занимался, и закуску. До ночи сидит он. «Вот, Сережа, говорит он мне, на старости лет в науку впрягся. Никак нельзя без этого». Так-то, друзья... Вот смотрю я — и будто вижу его перед собой.

— Позвольте, однако... — Инженер-выпускник, новичок на заводе, не знавший о слабости Пахомыча, развел руками и приготовился решительно возразить. — Ведь не сходятся даты. Титов умер, как известно, в последние годы прошлого века. Сколько же было вам тогда лет, Сергей Пахомыч, если Петр Акиндинович поверял вам такие тайны и...

Заметив, что Снесарев пристально смотрит на него, чуть покачивая головой, инженер прикусил язык. Произошел молчаливый обмен мыслями. «Не стоит касаться этого вопроса?» — спрашивал новичок. «Да, не годится, — отвечал старший товарищ. — Я вам потом все объясню».

Пахомыч фантазировал в этих рассказах не потому, что любил прихвастнуть (во всем, что касалось себя самого, он всегда был скромен). Нет, он горячо с молодых лет полюбил Титова. Никогда он не видел Петра Акиндиновича. Но о нем рассказывали такие удивительные истории заводские учителя Пахомыча — о доброте, о его необыкновенных способностях, изумлявших ученых, — что замечательный судостроитель-самоучка стал для Пахомыча живым героем, наставником, спутником, примером всей его жизни.

Пахомыч даже гордился тем, что он земляк Титову, ну не совсем земляк, а почти что... Акиндин Титов — рязанец родом, но ходил машинистом на пароходах по линии Петербург—Петрозаводск. Сына Петра он брал с собой подручным. А он, Пахомыч, родом из тех самых мест, из Прионежья. Ну, вот вроде и земляки!

В этом году у Пахомыча отпуск получился ранний — в июне. Взяв рыболовные принадлежности, он подался с племянником-сиротой на Псковщину, где у него жили добрые знакомые.

И на Псковщине Пахомыч едва не пропал без вести. Там его застала война. Пришлось уходить, когда фронт уже вплотную приблизился к тем местам. Пахомыч был потрясен тем, что случилось. По шатким гатям, по заросшим лесным дорогам он, знаток этих мест, уходил вместе с двенадцатилетним Ганькой и указывал путь группе бойцов, не бросавших малокалиберных зенитных орудий. Приходилось ночевать в лесу, не разжигая костра. Гати проваливались. Над лесом кружились вражеские самолеты, в стороне и позади поднимались зарева.

Когда добрались до шоссе, ведущего в Гдов, Пахомыч простился с бойцами и на прощание починил, почти без инструмента, неисправный замок орудия. Спустя два дня он и Ганька были в Ленинграде. У Пахомыча обнаружился жестокий плеврит. В августе он поднялся. Ему предлагали уехать, он наотрез отказался, хотя и понимал, что работа на заводе неминуемо остановится.

— Перейдем пока в упаковочный цех, — невесело говорил он, — а там другая работа найдется. Надумаем что-нибудь.

Пахомыч был мастером-универсалом, который мог бы наладить самую технически сложную работу в любом цехе. Таких мастеров не нашлось бы и пяти во всем заводе. И вот пришлось ему руководить бригадой, которая снимала станки со старого места, обшивала их досками для отправки в глубокий тыл. Безрадостное это было дело.

Снесарев съел, обжигаясь, горячую картофелину.

— Да ты пальтишко сними, у нас тепло, как в парилке. Взопреешь, а потом опять простудишься.

Пахомыч, казалось, не изменился. Только с левой стороны в нервном тике подергивались уголки губ, поднимая кончик жесткого, прокуренного уса.

— Сам не знаю, отчего так у меня. Подергаются, перестанут на часок, будто пружина кончилась, и опять...

Голова Пахомыча была уже почти сплошь лысая, только спереди оставались полурыжие, полуседые волосы — считанные, но непокорные, стоявшие торчком.

— Что вы тут делаете? — спросил Снесарев.

— Погоди, расскажу.

Пахомыч посасывал трубку, в которой дымилась какая-то дрянь, заменявшая табак.

— Видишь ли... Готовим свою станцию. Как мазут будет, можно свет включать.

— Станцию? Блок-станцию?

— Ну да, так теперь называют.

— Да разве вы это умеете?

— А что хитрого? Чертежи я раздобыл.

— И много дадите света?

— Где же много? На самые крайности. Вот, брат, чем я теперь, после упаковки, занялся. Все-таки работа, хоть и не моя коренная. Ну, не так скучно стало.

Они вместе вышли наружу.

— Видишь, какая оспа появилась?

Пахомыч показал на стену, густо исцарапанную осколками снарядов.

— А как бригаду собрали?

— Вот это трудно было. Молодежь вся на войне, старики болеют, да и не досчитались многих. Настоящих монтеров нет. Знал ты Федосова?.. Вчера похоронили. Насобирал я людей где придется. Беру на день, на два, в работе показываю, что надо делать. Да, по совести сказать, и сам на ходу учусь. Лабзина видел? Этого из столовой присылают. Кашевара на такое дело! Правда, голова у него работает, только болтает много. Да и трусоват. Чуть где услышит разрыв — сразу в норку. Потом четверо из разных цехов — я и не знал их прежде. Племянник мой Ганька прибился к нам. Не знаю, как с ним быть.

— А что?

— Школьный год теряет. Что посоветуешь?

— Так надо узнать, открыта ли сейчас школа. Какая-нибудь, может быть, и открыта.

— То-то и есть, что какая-нибудь. А где она? Если далеко, то шагай под немецкими снарядами. «Ну, шагай же ради бога...» — Пахомыч и знал и любил Некрасова. Он горько усмехнулся и добавил: — Шагай, Гаврила, в школу под обстрелом. Ну ладно, это мы додумаем. А ток все-таки дадим.

— А что там за стук? — спросил Снесарев, прислушиваясь к глухим ударам издалека.

— А ты, значит, у той стенки не был? Ледокол к весне готовят. Поверишь ли, всё вручную. Черт его знает, как тяжело! А не могут люди без работы. Слышишь?

— Слышу, только не понимаю, что это.

— Это, можно сказать, звук из старины. Молотом заклепки вгоняют. Не застал ты этой работы, а я помню.



— Видишь, какая оспа появилась? — Пахомыч показал на стену, густо исцарапанную осколками снарядов.

При тебе пневматическим молотом вгоняли. Вроде как пулемет трещал. А теперь сжатого воздуха нет. Обыкновенным молотком бьют. Тук... тук... Тридцать лет этого не было. А рука-то слабая. Ну, хоть так, да работать. Смотреть пока нечего. Иди-ка ты в тепло. Слабый еще.

И снова Снесарев шел безлюдными заводскими дворами, мимо путей, на которых не было движения, мимо стен, пробитых снарядами, но теперь ему уже не казалось, что это замерло на долгие годы.

3. Что же помогает держаться?

Снесарева выписали из стационара, и он опять засел за чертежи. Дверь своей квартиры он заколотил, взяв из нее самое необходимое, и жил при заводе.

Ему отвели маленькую, полутемную комнату с низкими сводами. Прямо перед окном поднималась глухая пожарная стена. Осенью в ней проделали бойницы — стена могла стать рубежом заводской внутренней обороны, и несколько дней из бойницы глядел ствол пулемета.

В углу комнаты поставили козлы, на них положили доски и тюфяк. Поверх легла цветастая украинская плахта, принесенная из дому.

Снесарев предпочитал работать по вечерам, потому что днем его неудержимо тянуло ко сну. В сумерках вахтер вносил фонарь «летучая мышь». Фонарь был чисто протерт — он и освещал и согревал комнату. Полоса теплого воздуха начиналась над линией стола, над чертежами. От пола сильно дуло, было холодно даже в валенках, и Снесарев ставил ноги на чемодан.

Он начал с того, что проверил первые расчеты, которые были сделаны вместе с Мишей Стрижом. В них он нашел несколько важных ошибок. Это неприятно удивило его — раньше в работе такого не было.

«Как же это мы с тобой, Миша? — вслух подумал он. — Будто новички».

Ему вспомнились дни, когда началась эта работа. По десятку раз в день завывала сирена, грохотали зенитки, расставленные на заводском дворе. «Миша! Миша! Где ты?.. — кричит Надя. — Товарищи, да он же там...» Да, он там, в комнате, из которой тянет черным дымом. Миша выбивает стекла и, высунувшись из окна, бросает на-

ружу тяжелые папки с чертежами, папки с документацией.

Воздушные тревоги каждый час и непроходящая мучительная тревога за семью, от которой нет вестей, разрывы дальнобойных снарядов за стеной — это сбивало мысль, сбивало работу.

А в тех расчетах, которые Снесарев, нарушая слово, данное Наде и доктору, больной, выполнял у себя дома, не нашлось даже мелких неточностей. Ему это показалось невероятным. Теперь Снесарев не мог даже отчетливо вспомнить, как он работал дома. Помнится, он просыпался ночью, накидывал полушубок, садился к столу. Остальное зыбко, как в дымке. Но работа все-таки сделана — расчеты перед ним, и можно поручиться за каждую цифру.

Он поделился этими мыслями с Пахомычем, но мастер не был удивлен таким признанием. Он только развел руками и рассмеялся:

— Ничего не нахожу тут странного. Все, брат, яснее ясного.

— Все-таки непонятно, почему никогда я так быстро не работал, как в те дни, когда дома лежал с коптилкой.

— Ты о семье тогда знал?

— Да, письмо принесли.

— Значит, тревогу с души сняли. Думал об одном. А коптилка?.. Чего там коптилка...

Очень уж хорошо Пахомыч выразил ту мысль, которая Снесареву не давалась.

— Тебе это, может быть, и впервой переживать, — продолжал Пахомыч. — А мы вот помним девятнадцатый, двадцатый год. Если что бывало по-настоящему надо сделать, так уж всё забывали. Весь в главном, без остатка. И как делали! Быстро и на совесть.

— Теперь-то потяжелее.

Пахомыч поморщился:

— Тяжелее, верно. Но не в том суть. Ты меня послушай. Ну, если неловко скажу, ты все-таки пойми, Василий Мироныч, как понять требуется.

— О чем вы, Сергей Пахомыч?

— О главном... О том, без чего и нас с тобой вовсе нет, и жизни нет. Подумал я об этом, когда с батареей по лесам и болотам пробирался. Ночью на привале парни уснули, намаялись. Я им говорю: «Спите, побуду на ча-

сах». Ну, те в момент уснули. Ганька мой похныкал и заснул. А над лесом гудят, проклятые. Даже звук у них подлый! По своим приметам я понимал, что до гдовской дороги нам тянуть и тянуть пушечки, верст тридцать, не меньше. Ох, и будет маяты, как зорька настанет! И думка пришла особенная... Да ты слушаешь ли?

— Слушаю, слушаю, — откликнулся Снесарев, поправляя фитиль «летучей мыши».

— Думаю — русский я человек, годов без малого шестьдесят прожил. Разное видел на веку и еще увижу. Помню я пятый год, и Порт-Артур, и Цусиму, и первую германскую войну. Отец мой еще в турецкую войну на Балканах воевал, а дед с материнской стороны был в Севастополе на бастионе. Вот какой род! Ну, лежу и думаю: а в чем тут разница?

— Какая разница?

— Какая? Между временами. Дед и отец за родину воевали и мы с тобой за родину. А разница-то есть! В старое время до семнадцатого года, для нас, русских, проиграть войну, конечно, и горе и стыд. И кровью платили, и золотом, и землей. Тяжело и обидно. Но проиграть гражданскую войну или вот эту войну — значит все потерять, всю народную жизнь потерять. И ты больше не человек, и дети твои людьми не станут... Тут уж наше на тысячу лет кончается. А дальше ничего не будет. С тех пор как мы хозяевами стали, нам ни одной войны проиграть нельзя. Иначе хозяевами не останемся. Вот в чем разница!

Горячее волнение охватило Снесарева. Как просто и убедительно сказал Пахомыч о самом заветном!

— И каждый из нас эту разницу видит! — Пахомыч поднял палец. — Тут уж всего себя собираешь. И самый маленький винтик в себе закрутишь намертво. Трудно тебе, немыслимо трудно, руки мерзнут, голова от голода кружится, а ты все-таки двигаешь дело, Василий Мироныч. Вот что помогает держаться. Слышишь? — Пахомыч указал в сторону занавешенного окна.

— Да уж, слышу...

В отдалении гулко разорвался снаряд.

— Напоминание нам! Горькое напоминание! Все бухает — «тут я, тут я». — Пахомыч глубоко вздохнул. — Ну, ничего, такое напоминание тоже все собирает в человеке, хоть и голоден человек, хоть и недоспал.

Они помолчали. Снова где-то далеко ударил снаряд.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

1. Задержка

Тягач тащил за собой два прицепа, полные дров. Прицепы трясло на пружинящих и подпрыгивающих жердях, которыми в короткое время вымостили узкую лесную дорогу.

— Сворачивай! — сердито кричал хриплым голосом водитель тягача, приоткрыв дверь кабины. — Куда хочешь, а сворачивай! Не видишь, что ли?

Развернуться «пикапу» было негде. Он попятился, и задние колеса ушли в глубокий снег, тягач и прицепы почти впритирку — водитель опасливо глядел назад — прошли мимо.

— Сущее наказание! — проворчал водитель «пикапа». — Теперь придется вагу рубить. Глубоко машина села. На руках не вытащить.

Три бойца выпрыгнули из кузова на снег.

Спустя минуту в стороне от дороги была срублена надежная жердь. Водитель обтесал ее у основания, поддел под колесо. Бойцы навалились на машину сзади, подхватили. Наконец «пикап» вытащили.

Здесь начиналась зона лесных разработок. Фронт был недалеко. Прежде чем свернуть с Ладожского шоссе, Ваулин заехал в штаб воинской части, расположенной поблизости, где прихватил трех бойцов. Они отлично знали эту местность, изборожденную жердевыми гатями.

— Не дороги, а прямо качели, товарищ майор, — говорил Ваулину сержант Самойлов, разведчик. — И всё проложили ленинградские девчата. Мы здесь воюем, а они рядом лес валят. Ничего, научились.

Несколько раз «пикап» снова оказывался в снегу. Наваливались на вагу, и Самойлов кричал звонким голосом:

— Гамузом, гамузом!

Через час добрались до конторы лесного хозяйства. Оттуда Ваулин с бойцами направился на лесной участок.

В провожатые им дали девушку. Она была в высоких сапогах, в ватнике, пригнанном к ее стройной фигуре, в ушанке, из-под которой выбивались светло-русые волосы.

— Как вас зовут? — спросил Ваулин.

— Для краткости зовите Нонной. Еще много будет вопросов?

— Не очень... Однако шапка у вас богатая, Нонна. Коричневый каракуль. Дорогая вещь!

— Для лесоруба слишком модно?

— Ну, не у всех же лесорубов...

— Представьте себе — у многих. Меховая фабрика для нас постаралась. Все, что у них было, мобилизовано для нас. Некоторым девчатам даже соболь на шапку достался. Лесоруб в соболях! Будто в Сибири лет двести назад.

— А что вы делаете? На какой операции?

— Теперь я инструктор.

— Санинструктор, конечно?

— Ну разумеется!.. Сколько раз я это слышала! У всех одно и то же. — Девушка засмеялась. — Я инструктор по работе лучковой пилой.

— Мало похожи вы, Нонна, на лесоруба. Вот и имя такое, непохожее... Что вы делали раньше?

— Лаборанткой была.

— А теперь на лучковой пиле?! — Самойлов, шедший сзади, широко усмехнулся.

Нонна обернулась к нему:

— У нас найдете кого угодно. Слесаря и счетовода, арматурщика, кондитера. Вон там путиловцы работают, а рядом обувщики. Текстильщицы есть. Работать начали обыкновенными пилами, а теперь лучковые. Если уж работать, то по-настоящему. Надо хоть немного отогреть Ленинград. Сколько холодных печурок в городе!.. — Лицо ее вдруг стало печальным. — Возле одной из них умерла мама... Я поехала сюда — подруги позвали. Поработала, присмотрелась, теперь других учу, как лучковой пилой управляться.

— Трудно? — помолчав, спросил Ваулин.

— Работа, что и говорить, тяжелая, непривычная. И все-таки здесь люди окрепли. Кормят лучше, чем в городе, и воздух чистый. Гораздо бодрее стали люди. А вы бы видели, какими они приезжали...

— У вас все молодежь?

— Молодежи много. Но есть и постарше.

— А почему в конторских списках возраст не указан? Я смотрел записи — небрежно они составлены.

— У них там порядочная путаница.

— Но вы-то знаете тех, кто постарше?

— Все через мои руки проходят.

Разговаривая, они быстро шли по извилистой утоптанной тропинке, задевая низкие елки. Близко перекликались женские голоса. Шурша обмороженными ветвями, падало подрубленное высокое дерево.

— Тут табачницы работают, — сказала девушка. — Дельная бригада. Хотите посмотреть их?

— Нет, пока нельзя. Торопимся...

— Пожалуйста. Только не понимаю, куда вы меня гоните? — Девушка пожала плечами. — Идем, идем, как скороходы, а куда?

Стук топоров, звонкий в морозном воздухе, стал затихать. Доносились далекие артиллерийские раскаты.

— На обед расходятся, — сказала девушка.

— Стрельбы не боятся?

— До нас снаряды не долетают. А девчата уже научились по звуку различать, когда легкие орудия стреляют, когда тяжелые.

Лесорубы собирались группами возле костров. Постукивали котелки, пахло горячим мясным супом.

— На вашем участке есть такие люди? — Ваулин назвал несколько фамилий.

— Да, они работают здесь. Совсем недавно пришли.

— Молодые?

— Не все. Трое будут постарше, лет тридцати пяти и больше. Я их свела в одну бригаду с такими же. А то с молодежью им неудобно работать — не те силы.

— Ведите меня в эту бригаду.

— Повернем. Вот к той землянке.

Люди, сидевшие за обедом, удивленно посмотрели на Ваулина, когда он вошел в землянку. Все они были средних лет. Вид у них был гораздо более бодрый, чем у людей на улицах Ленинграда.

— Работать к нам, товарищ командир? — шутливо спросил один из них.

— Не совсем, — в тон ему ответил Ваулин.

Он сразу почувствовал, что человека, которого ищет, здесь нет.

— Привет, старая гвардия! — поздоровалась Нонна.

— Привет, товарищ инструктор. Садитесь с нами. Ложка с вами?

Нонна торжественно объявила Ваулину:

— Перед вами и часовщик, и водопроводчик, и даже музыкант из оперного театра.

— Валторнист-концертмейстер, — представился приземистый человек в черном ватнике.

— Таким образом, полное культурно-бытовое обслуживание. Да, еще монтер есть...

— Монтера-то как раз и нет, — перебили ее.

— Как — нет? А где же Рауксни́с?

— Как его зовут? — быстро переспросил Ваулин.

— Рауксни́с.

Это имя было вписано в одну из трех регистрационных карточек — последних, которые отложил Ваулин.

— Так где же Рауксни́с?—поинтересовалась Нонна.— Он мне нужен.

— Пошел в медпункт.

— Странно, я была в медпункте и не видела его там.

— Разминулись, должно быть.

— На лыжах пошел? — вдруг спросил Ваулин.

— Да, на лыжах. Он привез с собой лыжи.

Ваулин был спокоен... Он ничем не выдал своего волнения. Итак, догадки сходились! Но и у последней черты, за которой, казалось, уже не оставалось ничего сомнительного, Ваулин не позволял сказать себе: «Да, это он, это тот, кто приходил к Снесареву! Он, и никто другой».

Сейчас не имело смысла расспрашивать, была ли у этого Рауксниса подчеркнутая, механическая чистота русской речи. Все должно было выясниться через несколько минут.

2. В Адмиралтействе

Снег под ногами звенел, как железо. По едва заметной тропке, которая вилась между сугробами, Снесарев и Пахомыч отправились в дальний цех, стоявший возле канала.

В цех попало несколько тяжелых снарядов. В крыше зияли огромные пробоины. На земле в беспорядке громоздились исковерканные стальные плиты, железный лом, обгоревшие кирпичи.

— Осторожней, расшибешься, — предупреждал Пахомыч, ловко карабкаясь по обломкам. — Пожалуйста, осторожней. Погоди-ка...

Невольно нагнув голову, они прислушались к знакомому завыванию.

— Нет, этот не сюда полетел. — И, сразу же забыв об опасности, Пахомыч продолжал: — Здесь площадку и устроим. Только все, что навалено здесь, нам не убрать. Одним не под силу. Десятки тысяч пудов здесь... Ты у адмирала когда будешь?

— Вызвали к вечеру.

— Проси его, чтобы побольше матросов прислал. А то площадку не расчистим. Ты от имени всего завода проси. Он завод давно знает, бывал у нас.

— Ну так что?

— Как — что? Лучше, чем другие, представит себе наше положение. Площадку, площадку готовить надо! Немедля.

— Немедля? Да ведь чертежи еще на утверждение пойдут, по инстанциям...

— Так что же? А тут пока место готовить надо.

— Азартный вы человек. Еще скажете, чтобы клумбы к весне разбили...

Держась за конец ржавого троса, свисавшего с потолка, Снесарев глядел на этот пустой, замороженный цех. Если в немыслимо тяжелое время люди думают о будущем, значит, сила не растрачена.

— И большая нужна площадка?

Пахомыч ответил не сразу. Он приставил руку ко лбу, словно защищал глаза от солнца, смотрел, прищурив глаза, шептал, водил по воздуху карандашом, вытащенным из бокового кармана, потом загибал пальцы в рваных перчатках, будто мысленно делал выкладки.

— Ну, если всерьез, то шестьдесят на тридцать. Хватит этого. Без клумб... — Пахомыч улыбнулся.

Вечером за Снесаревым прислали автомобиль. Машина нырнула в узкую улицу, жалобно скрипя рессорами, тяжело покачиваясь с боку на бок. Медленно ходили теперь немногие машины на улицах осажденного города — горючего выдавали в обрез, было оно плохого качества.

На темных улицах между высокими сугробами оставалась проезжей только узкая полоса. Машина побуксовала возле скользких бугров, которыми уродливо обросла площадь, и опять двинулась по такой же узкой, как коридор, улице. Потом открылась другая площадь с темной громадой собора. Нигде не было видно огней. Потянулась ограда парка.

Машина остановилась. Снесарев вышел. Он не сразу разглядел, что перед ним здание Адмиралтейства. Подъезд был затемнен. Дежурный офицер повел Снесарева наверх. Освещая крошечным фонариком путь, они шли через огромные залы, где лишь легким шелестом отдаются шаги, через коридоры с двумя рядами плотно занавешенных окон, по винтовым лестницам. В приемной — маленькой комнате с высоченным потолком — они немного подождали, и затем Снесарев вошел в кабинет.

Адмирал, высокий, крепкий, седой, быстро вышел из-за стола и крепко обнял Снесарева:

— Знаю, знаю о вас. О работе вашей знаю. Ну, садитесь сюда, потолкуем. Замерзли, конечно? Чаю нам! Самого горячего! Каленого!

Внесли поднос с двумя тяжелыми подстаканниками. Снесарев заметил, что на подстаканниках были вырезаны слова — «Океан — Комсомолец».

Адмирал перехватил его взгляд:

— Это подарок. Я давно служил на «Океане». Знаете? Транспортное судно. Потом его назвали «Комсомольцем». Комсомольцы-то и привели его в порядок. Это было в тот год, когда комсомол взял шефство над флотом. Отличное пополнение пришло. Сильные, смелые ребята, все захвачены романтикой моря. Были и рабочие, и секретари укомов комсомола, избачи, селькоры... А романтика-то начиналась с того, что... надевай, товарищ молодой, брезентовую робу и отбивай ржавчину с цепей, чисть трюмы. Трюмы чистили, ржавчину сбивали, но это не убило романтику. Вот эти парни и восстанавливали флот. Когда меня переводили с «Комсомольца», они поднесли мне два подстаканника. Из шрапнельных стаканов выточены. Удобная штука во время качки —тяжелые... Пейте, пожалуйста. Угощать больше нечем. Галеты возьмите. Темноватые, но неплохие.

Снесарев с наслаждением прихлебывал маленькими глотками чай, который адмирал называл каленым, и тепло разливалось по всему телу.

— Вопросов у меня к вам будет немало, — заметил адмирал. — Нам еще придется встретиться, и не раз. Пока скажу одно. Дело это большое, интересное и... моряка берет за душу. Лето нам предстоит тревожное. Сил у них все еще немало. Если ваши малые корабли к лету войдут в строй — отлично! Вот послушайте...

Адмирал вынул из ящика папку, в которую были подшиты листы папиросной бумаги:

— Здесь подобраны статьи гитлеровских морских обозревателей о Балтийском флоте, перехваченные приказы, высказывания одного влиятельного журналиста нейтральной страны. Есть все основания думать, что он живет отнюдь не на нейтральные деньги.

Адмирал прищурился и покачал головой:

— Послушайте. Острить изволит. Этот самый негодяй, перо которого вдохновляет не нейтральная валюта, пишет: «Морская история России началась на Балтийском море, там же она и кончается навсегда на наших глазах». Навсегда кончается наша морская история, а?

Адмирал перевернул страницу и остановил взгляд на строчках, подчеркнутых синим карандашом:

— А вот это из другой статьи: «Акваторию советского Балтийского флота отныне правильнее называть аквариумом. В этом аквариуме есть некоторый простор для рыб, но не для кораблей. Некуда уйти обреченным кораблям». Написано осенью. «Аквариум»! Горькая насмешка. Чем ответишь? Даже в девятнадцатом году было просторнее. Да, кораблям уйти некуда!

Адмирал спрятал папку:

— И каждый день наши радисты ловят в эфире такие остроты... Так что же мы будем делать летом, товарищ Снесарев? Что вы об этом думаете? О лете 1942 года? А?

— О лете 1942 года? Я думаю о своем корабле.

— Значит, по-настоящему думаете о будущем лете. Летом мы должны показать, что как бы ни было тяжело зимой, как ни тесно в этом аквариуме, а мы думали о море, мы не забывали ни на один день, что живем на море. Кораблям некуда уйти — так пойдут вперед! — Адмирал поднялся и оперся обеими руками о стол. — Подводные лодки проложат дорогу на Балтику. Трудно это, опасно, но проложат! Там тяжелые минные поля, и все-таки пройдут подводники. А надводные корабли? Как они пройдут? Большим пока некуда податься — это верно. Но ваши, товарищ Снесарев, пройдут. Пройдут и будут драться! Мы покажем, что даже такую зиму прожили не сложив руки. Ударим в ответ на удар! Внезапно!

Адмирал взял карандаш и повел им по большой карте, лежащей на столе:

— Вы знаете эти острова? Они впереди нашей сухопутной линии обороны, они как заноза у врага. С Гогланда мы осенью ушли. Удержать его невозможно было. И, если гитлеровцы прорвутся на эти острова — а такие планы у них есть, — нашим подводным лодкам будет в три раза труднее и опаснее выходить в море.

Оба склонились над столом.

— Вот они, Лавенсаари, Сейскари... Кажутся солидными островами, верно? Но так только на большой карте. А на обыкновенной они — песчинки по сравнению с Котлином, еле заметны. И все-таки это крепости.

Адмирал снова вынул папку из стола и быстро отыскал страницу, которая была нужна.

— Вот слушайте, что пишет тот же «нейтральный» журналист: «Эти крошечные островки словно оторвались от материка и, к некоторому неудобству господствующих на Балтике сил, унеслись в открытое море, где и стали на якорь». К некоторому неудобству нашего противника. Сказано осторожно. Противник немало дал бы, чтобы убрать с пути такое неудобство. «После Ханко островки стали выдвинутыми вперед бастионами обороны русских». Ну, а дальше он распространяется на тему о том, что и эти бастионы обречены, что они не удержатся, как не удержались острова у входа в Финский залив... — Адмирал спрятал папку. — Несколько дней назад возле этих бастионов кружили вражеские лыжники. Покружились, приблизились, но не все смогли уйти.

Он сложил карту:

— Я рассказал вам об этом, товарищ Снесарев, для того, чтобы вы знали, где нужны будут летом ваши корабли и... почему они нам так нужны. Ну, как? Почувствовали теперь, уважаемый конструктор, боевую обстановку?

— Вполне почувствовал, товарищ адмирал. И, знаете, самому захотелось повести этот корабль, который еще не построен.

— Будет, будет построен! Да, у вас есть морская жилка. Без нее нет настоящего судостроителя. Ну-с, обратимся к практической стороне дела. Значит, рабочие чертежи здесь нельзя изготовить? Это, конечно, осложнение. Что ж... изготовим в тылу, в спокойном городе. Завтра же дадим туда знать. Будут работать круглые сутки. Проект вы сами повезете?

— Вряд ли я смогу поехать. Нужно еще многое подготовить. Нельзя терять времени.

— Да, времени терять нельзя. Что вам нужно?

— Люди, люди и люди. Надо расчищать площадку.

— Поможем. Завтра же будут у вас люди. — Адмирал сделал пометку в блокноте.

Они расстались далеко за полночь. И опять долго машина пробиралась к заводу по непроглядным, казавшимся вымершими улицам.

3. По следам неизвестного

На восток к берегам Ладожского озера почти сплошной стеной тянулись леса — ель, сосна, невысокая кривая береза. Леса поднимались на косогоры, расступались перед маленькими озерами и болотами и смыкались снова. Человек, который впервые попадал сюда, не мог не подивиться тому, что так недалеко от Ленинграда лежат глухие, мало обжитые места. Здесь лишь изредка попадались окруженные лесами деревни, и между ними вились узкие, зараставшие к осени проселочные дороги. Произошло так потому, что железную дорогу проложили в восточной полосе гораздо позже, чем возле приморья. Чем ближе к Ладоге, тем глуше становились эти места.

Майор Ваулин и бойцы-разведчики, которых он взял с собой, уже давно шли на восток. Об отдыхе нельзя было и подумать. Часа через четыре начнутся густые сумерки, тогда легко будет потерять след — лыжню неизвестного.

Решение созрело у Ваулина мгновенно. Наступил тот момент, когда надо действовать без промедления. Он наскоро задавал лесорубам вопросы и требовал точных ответов. «Заметно ли было, что Рауксние в самом деле нездоров?» — «Нет. Он начал было работать, потом положил пилу, сел на пень, схватился за живот. Спросили, что с ним. Он ответил, что у него бывают внезапные приступы боли. Они, впрочем, скоро проходят. Вот только кашель привязался. Придется сходить в медпункт. Он встал и довольно быстро отправился к землянке, где лежали его лыжи». — «Какие вещи были у Рауксписа?» — «Только дорожный мешок». — «Где он?» — «Должно быть, под нарами». Но под нарами мешка не было. И все удивились, переглянулись. «Какого образца мешок?» Один лесоруб ответил, что он работал продавцом в ленинград-

ских универмагах. Разные дорожные мешки поступали в продажу, но таких, с пружинками, которые упираются в плечи, не видел. «С пружинками? Вы это точно помните?» — «Да, с пружинками. Удобная, вероятно, штука — груз меньше чувствуется».

Ваулин прервал опрос и шепнул бойцу:

— Самойлов, бегом к машине, веди сюда своих, возьми лыжи.

«Как одет был Рауксснис?».— «В брезентовую куртку». — «Брезентовую? Вы это точно помните?»

Часовщик предположил, что брезент был пристегивающийся, чтобы не портился верхний мех. «Почему вы так думаете?» — «Вчера, — рассказал часовщик, — ночью я проснулся, зажег свет. Рауксснис спал, натянув на себя куртку, угол брезента отогнулся, и я увидел мех». — «Был ли он общительный?» — «Видите ли, товарищ майор, мы очень устали, много пережили, так что первое время не до разговоров было: придем с работы— и сразу спать».— «Как он говорил? Заметно было, что он чем-то обеспокоен?» — «Трудно сказать... Каждый взбудоражен, у каждого свои тяжелые мысли». — «Наружность Раукcниса?» — «В наружности ничего бросающегося в глаза, мы не пригляделись к нему. Ну, тонкий, что ли, нос, короткие усы». — «Короткие усы? — усомнился Ваулин. — Верно ли?» Снесарев, помнится, говорил ему, что незнакомец был гладко выбрит. «Нет, точно, короткие усы, все на это обратили внимание. Аккуратно подбритые усы. И это удивительно, потому что время, сами знаете, какое, не до франтовства».

— Да ведь их здесь фотографировали, — вспомнила Нонна.

Это было неожиданностью для Ваулина.

«Фотографировали? Снимки есть?»—«Снимков нет».— «Кто же фотографировал?» — «Приезжали двое из газеты, один такой толстый, шумный. Обещали потом прислать снимки для альбома, но ведь они всегда обещают». — «Из какой газеты?» Точно Нонна не помнит, но из Ленинграда. «А Рауксснис почему-то был недоволен тем, что их фотографируют, — вдруг вспомнил часовщик. — Он сказал: бригада только сформировалась, стоит ли сниматься... Рауксснис неохотно занял свое место в группе, стал сзади всех. И фотограф два раза просил его не шевелиться».—«Просил не шевелиться? Вы это точно по-

мните?» — «Вполне». — «А как работал Рауксннс?» — «Неплохо. Видна была сноровка»...

Пришел Самойлов с товарищами. Они были на лыжах. Ваулин также надел лыжи.

— Покажите дорогу на медпункт, — обратился Ваулин к девушке.

— Вот в ту сторону. Там флаг висит... Но я ничего не понимаю. Что он сделал?

— Некогда, некогда... — Ваулин махнул рукой. — Потом. Мы еще встретимся.

В землянке притихли. Лесорубы проводили Ваулина внимательным взглядом. У всех мелькнула одна и та же догадка — произошло что-то очень важное. Но разговаривать об этом не стали.

Конечно, Рауксннс, как и думал Ваулин, в медпункт не заходил. Он свернул с полпути прямо в лес. Вот его след, Самойлов молча указал свежую лыжню, и все тотчас двинулись по ней.

Теперь их со всех сторон обступил лес. Мороз. Тихо и безветренно. Небо над лесом чистое.

Ваулин уже с год не ходил на лыжах, но, посмотрев, как впереди двигались разведчики, он на ходу приспособился и шел не отставая. Усталости он не чувствовал, спать больше не хотелось. В медпункте Ваулин взял банку вазелина. Все четверо густо намазали щеки и нос. Мороз, видно, станет еще крепче.

Самойлов шел первым. Скоро перестал доноситься стук топоров. Только глухое грохотание орудий нарушало тишину. Спустя час Самойлов объявил, что лыжня начинает петлять.

— Здесь он начал крутить, товарищ майор. Со следа сбивает.

— Читайте! Читайте эти петли, Самойлов! — нетерпеливо крикнул Ваулин.

— Да уж стараюсь, товарищ майор.

Если у шпиона на эти зигзаги ушло полчаса, то прочесть их надо в десять минут. Надо выиграть время!

Но вот лыжня дала развилку. Один след уходил на холм, густо поросший кустами, вероятно орешником: другой — в плотный ельник, ставший на пути сплошной зелено-белой колючей стеной.

— Ну, это мы сейчас разгадаем, — сказал Ваулин.— Самойлов, к холму!

Самойлов рванулся с места. Скоро он вернулся.

— Там следов нет, товарищ майор, — доложил он. — Ни елочкой, ни уступом. И не думал он туда подниматься.

— Почему?

— Чего зря лыжи ломать! На таких холмах камень бывает, острый камень.

— Нечего делать, продеремся через ельник. Он же пробился.

Втянув голову в плечи, повернувшись немного боком, наклонившись, они пробирались через колючую пружинистую стену ельника.

Много еще таких петель распутывали они. Скоро Ваулин почувствовал, что устает. Идти становилось все труднее. Как всегда после долгого перерыва в хождении на лыжах, начали болеть ноги выше колена. Давали себя знать две ночи без сна.

«Рауксние крепок, — подумал Ваулин. — Мои ребята и моложе и крепче его. Значит, из-за меня может задержаться преследование. Только не это, только не это!.. Они как будто смекнули, что я устал».

— Самойлов, почему вы так часто оборачиваетесь? — громко спросил Ваулин. — Никто не отстает. Иди, не сбавляй темпа...

На одном участке дорога была гладко укатана. По-видимому, здесь несколько раз прошли сани с тяжелым грузом. Лыжня исчезла. Может быть, Рауксние, чтобы сбить преследователей со следа, прошел сотню-другую метров по этой дороге?

Приближался грузовик. Ваулин поднял руку. Машина остановилась, водитель открыл дверцу кабины.

— Подвезти? — спросил он. — Садитесь.

— Нет... Не видели тут одного лыжника? — спросил Ваулин. — С дорожным мешком.

Нет, лыжника водитель не встречал. А не заметил ли он следов в стороне от дороги? Водитель задумался.

— Вот разве там. — Он махнул рукой в сторону поворота, который виднелся сквозь деревья.—Как будто там...

Двинулись к повороту. Лыжные борозды начинались за канавой и вели в лес.

— Самойлов, след тот же или другой? — спросил Ваулин.

Самойлов ответил не сразу. Он ходил вперед, назад, наклонялся над лыжней.

— Те же лыжи, товарищ майор, — ответил он наконец. — Ручаюсь!

«Значит, так и есть, — подумал Ваулин. — Он воспользовался дорогой, чтобы обмануть нас».

Этим приемом неизвестный, которого Ваулин условно называл «Рауксписом», а Самойлов коротко «он», выиграл несколько минут. Видно, что это опытный, тренированный противник, отлично применяющийся к местности. Он действовал уверенно, напрягая все свои силы, пуская в ход все свое умение. Он был впереди, пока еще неуловимый.

— Тут не только он петлял, — сказал Самойлов.—Вон кто-то еще.

Сбоку виднелись следы зайца и лисицы.

Незадолго до сумерек они вышли к узкой речке.

Много таких речек, которые не названы на общей карте, а нанесены только на военную, течет в северном лесном краю. Мелкие и быстрые, они бегут по каменистому руслу, не замерзают даже в самые крепкие морозы, и вода так и бурлит возле больших камней. Всю зиму водоросль, омываемая быстрым потоком, вьется на камнях, то скрываясь под пеной, то изгибаясь, как змея. Лыжный след потянулся вдоль берега речки. Ваулин понял, что Рауксние искал места, где течение тише, чтобы переправиться на другой берег. Перейти вброд с лыжами на плечах он не рискнул. Но вот место для переправы найдено Рауксписом.

— Стойте! — сказал Ваулин.—Здесь он рубил жерди. Видите?

Почти у самого берега были видны свежие пеньки молодых осин. Они были срублены час, два часа назад. Сколько он выиграл во времени? Если бы знать это...

Река здесь наполовину замерзла, потому что течение было медленнее. Лед держался только у берега. Жердь одним концом была положена на лед, а другим легла на каменистый выступ противоположного берега. Так он перешел через реку. Вторую жердь, видимо, снесло вниз.

— Что ж, давайте и мы рубить жерди. Надо переходить туда.

Ваулин вынул большой острый нож...

Когда перебрались на другой берег, в лесу стемнело. Теперь уже не видели следа. Не имело смысла идти дальше, пока не вызвездит. Хорошо, что успели войти в сос-

няк. Здесь тени не густые и ночью осмотреться будет легче.

Вероятно, у Рауксниса имелась точная карта — он обходил редкие населенные пункты, проложил маршрут по пустынным местам. На привале Ваулин чувствовал, что нестерпимо болит все тело. Бойцы, вероятно, понимали, в каком он состоянии, — они старались не глядеть на него.

Ваулин протянул бойцам фляжку:

— По глотку. Погрейтесь немного.

Отпили по глотку.

— Теперь нарубите веток и ложитесь... Нет, только для себя рубите.

— А вы, товарищ майор?

— Я не буду. Двое отдыхают. Я и Самойлов подежурим.

Ваулин чувствовал, что теперь ему нельзя забыться в дремоте ни на минуту. Разговор поможет не уснуть.

— Как вы, товарищ Самойлов? Как себя чувствуете?

— Я-то? Да ничего... На границе бывало и не такое.

— А что именно бывало?

— О, тут рассказывать и рассказывать, товарищ майор! — Здоровенный Самойлов с хрустом потянулся. — Два года я прослужил на границе. Чего только не было. И на земле, и на воде, и в снегу, и в болотах. Раз было, что трое суток вся застава не спала. Сапог не снимали. Всё обшарили. Под каждым кустом были, каждую кочку осмотрели, а нарушителя нет. — Рассказ о пережитом начинал увлекать Самойлова.

— Нашли?

— Нашли, потому что воронку разглядели.

— Какую воронку?

— Лодку он плохо затопил. Можно сказать, халтурно затопил.

— Халтурно? — Ваулин улыбнулся.

— Именно. Он от берега чисто переправился. Весла тряпками обмотаны, чтоб без стука. Ну, и весла плохо утопил. Одно концом у самой поверхности. Воронка образовалась на спокойной воде. Я с берега заметил. Стали искать его.

— И тогда-то нашли?

— Ага. Он, представьте, грибы заготовлял.

— Грибы заготовлял?

— Такие документы у него были, на заготовителя.

Сразу он не рискнул из пограничной полосы уехать в сторону Москвы. Тут уж все начеку были. Он это, конечно, понимал. Ну и выжидал, пока тревога уляжется. Стал заготовителем грибов.

— Так трое суток не спали?

— Трое суток. И ничего — потом пошли на вечер самодеятельности.

— А наши-то ребята спят. Даже храпеть начинают. Давай-ка потормошим их, Самойлов, чтобы не застыли... Что это?

— Сучья от мороза трещат.

Бойцов перевернули. Самойлов со всей силы хлопал их по спине, и они что-то бормотали сквозь дремоту.

Самойлов шутил:

— Как в баньке, товарищ майор.

— Да, чувствуется в тебе пограничная школа, Самойлов. Потормоши-ка меня теперь... Сильнее!.. Ничего, кровь разойдется.

Боль в ногах была ужасной. Ваулин сжал зубы. Он снял на минуту сапоги и стал растирать ноги. Сразу сделалось легче.

— Самойлов, — тихо сказал Ваулин, — если со мной что-нибудь произойдет, ты меня заменишь.

— Слушаю, товарищ майор! — еще тише ответил Самойлов.

— А теперь буди их.

Выпили еще по глотку. Медленно разгорались звезды. Казалось, что они низко висят над деревьями. В редком сосновом лесу стало светлее. Самойлов без труда отыскал след.

«Как Раукснис теперь поступит? — думал Ваулин. — Успеет ли ночью дойти до озера. Если нет, то переждет в лесу. Днем возле Ладожского озера показаться опасно, на дороге пусто не бывает. Охранение, патрули... Но знает ли он об этом? Может, все-таки рискнет напролом, пересечет дорогу и выйдет прямо на лед?»

Одно было ясно — надо безостановочно двигаться дальше, пока виден след. Теперь он уже не петлял — Раукснис торопился.

Сколько километров прошли? По прямой — Ваулин успел взглянуть на карту во время стоянки — километров двадцать пять, а с петлями — значительно больше. Лес опять стал частым и запутанным.

Звезды постепенно начали бледнеть. След был потерян, но это не заботило Ваулина. Скоро должны начаться торфяные болота — места открытые. В утренних сумерках сделали еще один привал. От одежды валил пар. Снова нарубили хвойника, чтобы не лежать на снегу.

Предстоял последний бросок, и это ожидание держало каждого в крайнем напряжении. Никто не смог уснуть.

Ваулин заранее обсудил с бойцами, как действовать при встрече. Если Раукснис откроет огонь, тотчас залечь. Один отвечает на огонь, стреляя поверх головы. Другие, лежа на лыжах, ползут в разные стороны, ползут на обхват, сливаясь со снегом, как можно ниже пригибая голову. У Раукcниса только пистолет с несколькими обоймами, автомата нет; возможно, есть одна-две гранаты. В крайнем случае стрелять Раукснису в ноги, но только в самом крайнем случае.

После привала прошли несколько километров. Самойлов, шедший головным, вдруг остановился с разбегу. На него неожиданно повеяло теплом.

— Здесь он грелся, товарищ майор. Видите? И это он знает, оказывается. Вероятно, бывал на севере.

Два срубленных ствола лежали одно на другом. Самойлов столкнул верхнее, и обнаружилась черная обуглившаяся полоса в древесине.

— Это ракатулет — финский костер без огня и без дыма, — объяснил Самойлов. — В нижнем бревне прорубают желобок, зажигают в нем стружку, поверх кладут бревно. Бревна тлеют, дают без огня большое тепло. Возле них можно спать, как в комнате. И наша Сибирь такое знает.

— Он не так давно ушел, — сказал Ваулин. — Бревна еще тлеют.

— Они долго могут тлеть.

— Но не рубил же он деревья.

— Повезло — нашел срубленные.

На снегу отчетливо виднелись отпечатки ног. Лыжный след от бревен вел прямо в направлении озера. Да, Раукснис торопился. Он не стал дожидаться второй ночи. Отсюда выход был только в открытые места.

— Ходу, товарищи!

Лес начал редеть и расступаться. Выйдя на открытое место, они увидели, что небо быстро затягивается низки-

ми тучами. Потеплело. В лицо ударил порывистый ветер. Крупными хлопьями повалил снег. И спустя минуту-другую Ваулин уже с трудом различал Самойлова. Снег летел на ветру сплошной пеленой, то почти параллельно земле, то закручивался в смерче.

— Скорее! К берегу! Жми, ребята! — кричал Ваулин.

Можно было и не подавать эту команду. Всех охватило чувство тревоги, каждый прибавил ходу.

Плохо видя друг друга, они пересекли болото, поле, одинокий лесок, дорогу вдоль берегового обрыва.

И вдруг Самойлов застопорил, обернулся, сказал срывающимся голосом:

— Беда! Совсем беда!

— Что? Какая беда?

— Слышите шум у берега?

Доносились глухие удары.

— Что это?

— Такое на Ладоге бывает... — бессвязно говорил Самойлов, отирая испарину. — Мороз, а лед ломает у берега. Выступает вода.

Глухие удары раздавались сильнее.

— Вниз!

Они почти скатились с обрыва на лед. Над Ладогой бушевал снежный вихрь. Не видно ни неба, ни замерзшего озера. Самойлов ткнул палкой в лед — палка ушла в мерзлую жижу. Наружу проступила вода.

— Это бывает... бывает в такую погоду, — повторял Самойлов.

— А ну, вдоль берега!

Они пробежали километр и больше, ища места, где можно было бы сойти на лед. Снег слепил глаза. Одежда промокла. Нигде нет перехода. Ветер становился шквальным. Ничего, кроме сплошной белой завесы, не видно на озере. И сквозь низкий вой ветра всё слышались эти глухие удары, словно где-то тяжелым бревном били в неподатливую дверь огромного пустого дома.

— Как думаешь, Самойлов? — спросил Ваулин.

— Бывает, по нескольку дней стоит вода. Как ветер стихнет, понемногу затянет.

— А широко она разливается?

— Метров на сто, а то и больше.

Сто метров мерзлой жижи были неодолимы.

— Что же теперь делать, товарищ майор? — В голосе Самойлова звучало уныние. — Ведь он там!

Солдаты молча глядели в сторону озера, будто все еще надеялись перейти на прочный лед. Да, он был там. Он успел проскочить на лед Ладоги, и метель надежно прикрыла его.

Почему же он успел уйти? Ваулин вспомнил до мелочей сутки без сна, каждый свой поступок, каждое распоряжение. В чем была ошибка? Где была задержка? Пожалуй, решающая задержка произошла на узкой ледневке, где мимо шли тягачи с прицепами. А что, если бы там бросить машину и всем встать на лыжи? Успели бы тогда выйти на озеро до того, как налетел теплый ветер, взломавший береговой припай?

Ваулин еще раз посмотрел в сторону озера, увидел и низкие тучи, и под ними непроглядную, нескончаемую полосу летящего снега. Он положил Самойлову руку на плечо и тихо сказал:

— Я сообщу вашему командиру, что вы сделали решительно все, что точно выполняли мои приказания!

Самойлов не ответил. Он также поглядел на недоступное озеро и коротко вздохнул.

4. Неизвестный на фотографии

Всю обратную дорогу Ваулин проспал в кабине автомобиля. Просыпался он на минуты, когда машина задерживалась у контрольно-пропускных постов. Он спал тяжелым, нисколько не освежающим сном, от которого не отдохнули ни голова, ни тело.

В сумерках показались охтинские окраины. Отсюда Ваулин выехал позавчера на рассвете.

— Нельзя ли поскорее? — спросил Ваулин, очнувшись. — Едем в центр!

Переехали Неву, оставили с левой стороны Смольный, Суворовский, Невский — нигде ни огонька. Лишь изредка мелькали фиолетовые точки. Это шли одинокие прохожие с фосфорным светящимся кружком на пальто.

Ваулин поднялся по темной лестнице наверх. Там, в двух-трех тесных комнатах при типографии, разместилась редакция газеты.

— Мне нужно видеть фотокорреспондента, который в

последние дни ездил на лесоразработки,—сказал Ваулин дежурному секретарю. — Он здесь?

— Здесь. Печатает снимки. Сейчас позову.

Из боковушки вышел огромного роста полный человек, черноволосый, с детскими глазами на круглом лице. Ваулин сразу узнал его. Он часто встречал этого человека на спортивных состязаниях, на военных парадах. Несмотря на полноту, фотокорреспондент отличался удивительной подвижностью. И на трибунах смеялись, видя, как он легко перебегает с места на место и, найдя выгодную точку, приседает, делает снимок-другой, бежит дальше...

— Как же, как же! — заговорил фотокорреспондент рокочущим басом. — Метался по ледневкам, жердевкам, будь они прокляты! Ни пройти, ни проехать — тягачи выручили. Но бока обломал.

Видно было, что это бодрый человек, весельчак, которому все нипочем. И, пожалуй, он немного бравировал этим перед окружающими.

— Можно посмотреть ваши последние снимки? — спросил Ваулин.

— Они сохнут.

— Все равно. Хотя бы в таком виде. Дело не терпит отлагательств.

— Прошу в мою келью. — Фотокорреспондент открыл дверь в боковушку. — Но должен предупредить — неудачная была поездка. Интересного мало.

Десятка два мокрых отпечатков разной величины были разложены на стекле.

— Готовлю альбом — «Молодежный Ленинград на топливном фронте».

— А не слишком ли театрально вы его готовите? — заметил Ваулин, рассматривая снимки. — Очень уж картинно стоят у вас люди. Так ли они стояли во время работы до вашего приезда?

Ваулин еще и еще раз очень внимательно осмотрел все отпечатки.

— Гм... Так ли они стояли до моего приезда? Фотография также искусство... — задумчиво пророкотал гигант. — Фотограф в известной степени режиссер-постановщик. Он фотографирует объект не бесстрастно, а так, чтобы запомнился.

— Ну, в другой раз поспорим. Вы всё молодежь фотографировали?

— Там молодежь работает.
— Но есть ведь бригада постарше.
— Есть. Только ею занимался мой коллега.
— Он здесь?
— Он москвич. Вчера из лесу приехал, вчера же и улетел. Я только разок щелкнул эту бригаду постарше. Так, на всякий случай.
— Есть у вас этот снимок?
— Пожалуйста.
Он снял с полки просохший отпечаток, свернувшийся по краям, и разгладил его. Несколько лесорубов стояли у поваленного дерева. Сняты они были средним планом. Ваулин узнал людей этой бригады: продавца универмага, часовщика, музыканта. Но один человек был ему незнаком. Этот человек стоял позади всех вполоборота, наклонив голову.
— Какая перспектива, а? Как снег снят! Как деревья! А свет?
— Да, неплохо, совсем неплохо... Вы помните вот этого человека?
— Этого?.. Признаться, не запомнил. Я эту группу не собирался снимать. Так просто щелкнул разок.
— Значит, ваш товарищ в Москве?
— Вчера уже был там.
— Где же он теперь может быть?
— Где ему быть? У себя в редакции. Сдает продукцию. Дома теперь неуютно. Он говорил, что и ночует в редакции.
— Вы можете увеличить этот снимок?
— Пожалуйста... А какова перспектива, а? Ну, сейчас займусь.
— Будьте добры.
Ваулин поглядел на фотокорреспондента и подумал: «Оба вы, ты и твой коллега, вспугнули дичь, сами того не зная. Рауксnис потому и поторопился, что попал на пленку. Потому и ушел раньше, чем предполагал уйти. Он даже не отдохнул».
Ваулин прошел в кабинет редактора. Был заказан спешный, вне всякой очереди, разговор с Москвой. С начала блокады проволочной связи не было и пользовались радиотелефоном. Эти разговоры, несомненно, подслушивал противник, и потому приходилось быть очень осторожным. Не упоминали даже названий «Ленинград» и

«Москва» — их заменили словами «наш город», «ваш город».

«Наш город» спросил, вернулся ли сотрудник такой-то. «Ваш город» ответил: «Да, вернулся, но завтра поедет по новому заданию на юг». — «Он здесь?» — «Отправился домой за вещами».

«Наш город» сказал, что за ним надо немедленно послать. Есть дело, не терпящее отлагательств. Из «вашего города» ответили, что сейчас же пошлют, что он будет у телефона через полчаса.

В перерыве Ваулин позвонил на завод и справился о здоровье Снесарева. Ему сообщили, что Снесарев чувствует себя хорошо, всякая опасность миновала и он, вероятно, скоро возобновит работу.

Через полчаса опять соединились с Москвой. У телефона был фотокорреспондент. Он оказался сообразительным человеком. После первых же слов догадался, о каких снимках идет речь.

— Завтра всё вышлем в ваш город, — сказал он Ваулину. — Вторую партию приготовим послезавтра и вышлем вдогонку.

— Дельно! — сказал Ваулин. — Все ясно. Так и сделайте. Благодарю. — Он понял, что на всякий случай пошлют не один, а два пакета с одинаковыми снимками. Все может случиться на трассе, по которой в осажденный город идут транспортные самолеты. — До свидания! Привет вашему городу!

У дверей кабинета редактора Ваулина ожидал гигант фотокорреспондент.

— Уже готово! — забасил он. — А вам, как ценителю, я приготовил еще два снимочка. Считаю, что это лучшие мои работы блокадного времени.

Он протянул три влажных увеличенных снимка, которые сохли на развернутом листе пористой бумаги.

— У моста лейтенанта Шмидта. Снято под разрывами. Здóрово, а?.. А это уезжающие. Станция возле Ладоги — Кабоны. Неправда ли, поразительный снимок?

Ваулин был занят другими мыслями, но не мог не задержать взгляд на третьем снимке. Возле машин лежат чемоданы уезжающих из осажденного города. Падает снег. На заднем плане виден железнодорожный состав. Женщина поставила девочку на чемодан и кутает ее в шерстяной платок. Дочка прижалась к матери. И по гла-

зам ребенка видно, как много он пережил. Сколько тоски в огромных глазах ребенка! Это уже не детские глаза.

— Спасибо. Снимок действительно волнует... И никакой постановки. Ничего не прибавили от себя. Это правда без украшательства. Спасибо за подарок!

Ваулин перевел взгляд на первый отпечаток — тот, который был ему нужен для работы.

Даже на этом увеличенном снимке трудно было разглядеть лицо неизвестного.

ПЯТАЯ ГЛАВА

1. Первый свет

В середине января на заводе удалось пустить крошечную блок-станцию. Она работала на мазуте, но мазута было в обрез — на самом дне последней цистерны. Станция осветила лишь две мастерские, в которых собирались наладить работу, да несколько комнат.

Над столом Снесарева горела низко опущенная на шнуре маленькая лампочка. О том, чтобы осветить копировальную мастерскую, пока не приходилось и думать. Да и работать там было бы некому. Из всех копировальщиц на заводе оставалась только Надя.

Снесарев не замечал времени и, если бы не Надя, забывал бы поесть. Болезнь жестоко потрепала Надю. Ватник болтался на ней, из-под воротничка проглядывали ключицы.

Когда она пришла в первый раз, Снесарев взял ее за обе руки, повернул из стороны в сторону, как ребенка:

— Нужно бы вам еще полежать с недельку. А то вы на самом деле долгоносик. Рано поднялись. Бить некому долгоносика!

Надя невесело улыбнулась. Черты ее круглого лица обострились, еще больше углубилась горькая морщинка около рта, и казалось, что огромные глаза стали еще больше, что они совсем налезли на виски.

— Что это, Надя? — Снесарев почти закричал, отошел на шаг назад, всплеснул руками.

У висков вились седые волосы. Надя махнула рукой, досадливо поморщилась:

— Не надо, Василий Мироныч. Не ужасайтесь — ничего страшного... Давайте лучше есть суп.

В углу комнаты, где работал Снесарев, она завела маленькое хозяйство: медный котелок, две алюминиевые тарелки, кружка, сковородка. Посуда была прикрыта чистой холстиной.

Снесарев принес из дому эмалированный чайник и выслушал от Нади едкое замечание:

— Эх, Василий Мироныч, самого простого не понимаете! Будто физике не учились.

— При чем тут физика?

— А при том, что испортили полезную вещь. Оставили воду в чайнике. Она замерзла, и лед продавил дно.

Чайник пришлось выбросить.

Надя ходила за водой, за растопкой, за углем. Девушка заботилась о Снесареве по-матерински. Они по-прежнему никогда не говорили о Мише.

Надя появлялась часа в четыре. Легкий скрип половицы напоминал Снесареву, что в комнате есть еще кто-то. Он поднимал голову от чертежей:

— А-а, это вы, Надя! Простите, задумался — не заметил, как вы пришли. — И снова наклонялся над работой.

Надя растапливала печурку, ставила на нее котелок, грелась. Спустя полчаса она расстилала на столе листы чистой бумаги. Снесарев откладывал чертежи, и они садились есть.

— Суп у нас сегодня замечательный, — говорила Надя. — Я ходила домой. И нашла на кухне... Представьте себе, что́ я нашла!..

— Что же именно вы нашли дома?

— Господи, да это же в супе, то, что я нашла! Неужели еще не обнаружили? Такой дух, а вы и не заметили. Четыре белых гриба нашла! Открыла банку на кухне — и глазам не поверила.

— Да, да, суп действительно замечательный! — торопливо хвалил Снесарев.

Как она быстро взрослела в своем несчастье, эта молодая девушка! И другая стала у нее манера держаться. А на вид почти девочка — вот только эти седые завитки волос... Больно смотреть на них.

И Снесареву хотелось сказать: «Эх, Надя, Надя! Долгоносик ты милый! Не можешь жить без заботы о ком-нибудь. Если нет Миши, помогаешь его другу, пото-

му что Миша как бы живет в нем». Но говорить об этом нельзя было.

— Письма от семьи есть, Василий Мироныч?

— С прошлой недели не было. Да... Что я хотел сказать вам?.. Вот что, Надя: ходить сегодня домой не следовало. За грибами отправилась! Ну чего вас понесло туда?

— А что?

— Да вы что, не знаете? Какой сегодня обстрел района! Если по балльной системе определять, так в десять баллов.

— Ну уж и десять! Пустяки. Только два раза под ворота прыгала. Один раз, верно, испугалась. По соседней крыше как дз-з-з...

— Чтоб в следующий раз ни-ни... Обстрелянная!

Надо было следить за тем, чтобы Надя не жульничала. Она наливала в свою тарелку только на самое донышко.

Снесарев сердито хватал котелок с супом и доливал в Надину тарелку:

— Долгоносик, я вас за эти штуки по рукам логарифмической линейкой буду бить!

— Я сыта, Василий Мироныч, честное пионерское!

— Ешьте!

И все-таки Надя хитрила. Снесарев садился за чертежи, а она быстро и незаметно убирала посуду в угол. Надя прятала довольную улыбку в углах губ. Суп готовился дня на два — на три, и то, что Снесарев подлил в Надину тарелку, она съест завтра.

Вечером забегал Пахомыч.

— Мигает невыносимо!—жаловался Снесарев на лампочку. — Что у вас там на станции происходит?

— Верно, мигает. А при коптилке лучше, что ли, было? Что на станции? Не Волховстрой! Ты бы посмотрел, какой мазут. Скажи спасибо, что хоть так светит.

Мастер-универсал был неутомим. После того как пошла блок-станция, он каждый день находил для себя новое дело.

— Слушай, — говорил он, разжигая вонючую трубку угольком, который брал пальцами.—Вот теперь, когда по две недели в городе не бываешь — незачем бывать-то, — обхожу я завод, и такие мысли приходят!.. Не знал я завода, хоть и тридцать лет тут. Неважно мы работали.

— Неважно? Почему?

— Эх, не то слово. Работать умели, но на многое глаз не хватало. Многое не так стоит у нас, как надо. Придет время, и мы завод переставим. Доживу до этого. Вот я теперь хожу, прикидываю и думаю. Первое, что скажу после войны, — по-другому работу расставить надо. Понимаешь, чтобы одну операцию к другой, впритык. Чтобы без пересадок шло. А тут ведь сто лет наслаивали одно на другое, без системы.

— Это и инженеры говорили, Пахомыч.

— Говорили, я знаю, но не очень-то напористо. Есть мастера, которые всё любят по старинке. Они в ней целиком с душой и с потрохами. И инженеры есть такие. Я не такой. Я новое признаю. Но какое? А такое, чтобы в нем было и от жизни, и от дельной книги. Вот это сплав! Ты написал, но и у меня спроси, у моих тридцати лет спроси. Не потеряешь на этом. Ведь я помощник твоим книгам! Да я свою книгу готовлю, если хочешь знать. Вот хватит ли только культурных слов у меня? — Пахомыч показал сложенную пополам тетрадь, которую он носил в боковом кармане. — Всегда она со мной, все сюда записываю. Все мысли. Когда фашиста прогонят, я к вам на совещание приду. Может, целый день буду говорить, как корабли по-новому строить. А вы слушайте!

Пахомыч рассмеялся и, прищурившись, склонился над чертежами. Он умел читать их.

— А как ты трубопровод думаешь укладывать? Твой корабль такой, что каждый сантиметр надо экономить.

— В том-то и дело.

— Ну, так слушай. Я со вчерашнего дня о трубопроводе думаю.

Порой Пахомыч давал такие ценные советы, что Снесарев слушал с удивлением. Действительно, у Пахомыча было то, что старый академик, судостроитель и математик называл чувством корабля.

В один из вечеров Пахомыч пришел не один. С ним была женщина лет сорока пяти, рослая, в ватнике, в подшитых валенках, как и все теперь на заводе.

— Здравствуйте, Василий Мироныч! Не помешаю? — спросила она низким, грудным голосом.

— Садитесь, садитесь, Марья Гавриловна! — Снесарев указал на топчан. — Я-то вас и не поздравил еще.

— Можно и без поздравлений, чтобы не было черес-

чур уж стыдно потом, когда за плохую работу критиковать будете. Ну, можно ли было подумать раньше, что выберут меня секретарем парткома? Да на каком заводе! Это только в такое время могло случиться. Выбора нет — потому-то и вспомнили обо мне.

— Нет, не потому.

— Ну уж ладно... Я к вам с делом. Чувствуете себя как?

До войны Марья Гавриловна Погосова работала машинистом в кузнечном цехе. Для женщины такая профессия была редкостью. Там же ее муж работал кузнецом. Нарком присвоил ему в особом приказе самый высокий разряд. Только четыре кузнеца судостроительных заводов всей страны имели такой разряд. У Погосовых было два сына — они работали в том же цехе.

«Вам всем надо бы зваться Кузнецовыми, — говорили им, когда семья возвращалась после смены домой. — Самая справедливая для вас фамилия!..»

Сыновья-погодки пошли добровольцами на фронт, а спустя месяц стало известно, что оба погибли в боях с белофиннами.

Положив руки на колени, Марья Гавриловна говорила Снесареву:

— Вы готовитесь, и мы готовимся. Мой-то уже крепко на ногах стоит. Вы же вместе в стационаре лежали. Ничего, ходит, сил немного набрался. А я к вам пришла как секретарь партийной организации. Так вот... Как бы на первых порах с вами подраться не пришлось...

— Со мной? Да почему же?

— Давайте начистоту, Василий Мироныч. Рабочие чертежи в тылу будут готовить?

— Да.

— Вы туда поедете?

— Ах, вот что. Думал я об этом, Марья Гавриловна. Не получится.

— По какой причине не получится? Отправили бы вас самолетом, вы бы там поработали и окрепли окончательно. А потом опять сюда. — Марья Гавриловна внимательно смотрела на него.

— Времени терять нельзя. Пока там чертежи готовят, мне тут дел хватит.

— Каких дел-то? — Марья Гавриловна положила ему руку на плечо. — Неужели, если уедете недельки на две, на месяц, так забудете, какой он, завод.

— Видите ли, Марья Гавриловна, когда я здесь, то совсем другое чувство у меня. Я многое замечаю, додумываю... Вот с ним у меня постоянный совет, — показал Снесарев на Пахомыча.

— А мне уехать нельзя: я площадку буду готовить, — подал голос Пахомыч.

— Не знаю, верить ли вам, Василий Мироныч. Просто не знаю. Мы ведь должны о вас думать, смотреть, чтобы не слишком переработались. Знаете, как Ленин одному большому работнику выговор объявил за то, что тот не берег себя? Мне рассказывали. За плохое обращение с казенным имуществом — со своим, значит, здоровьем... Боюсь, что обманываете вы меня.

— Чертежи ведь одно, Марья Гавриловна, а тут площадку будут готовить. Мой глаз не помешает.

— Вот и поймала вас на слове. «Не помешает» — дело небольшое... Одним словом, собирайтесь в дорогу. — Марья Гавриловна поднялась с топчана.

Снесарев также поднялся и загородил ей дорогу:

— Да нет же, Марья Гавриловна, я здесь нужен! Убежден, что нельзя терять мне эти недели.

— Так ли?.. Пахомыч, — Марья Гавриловна повернулась к мастеру, — что скажешь по этому вопросу? Только без хитрости.

И Пахомыч ответил почтительно, как дисциплинированный школьник:

— Действительно, нужен. Честное слово.

— Ну, я еще проверю, — подумав, сказала Марья Гавриловна. — С другими посоветуюсь.

Она не спеша повязалась шерстяным платком и вышла.

2. С чертежами на Большую землю

Вот они лежат между листами фанеры, покрытыми промасленной бумагой — сырость не должна проникнуть внутрь, а клеенки не нашлось, — со старой калькой поверх бумаги, в двух тяжелых пакетах, перетянутых мяг-

кой алюминиевой проволокой, чертежи Снесарева. Среди них есть и те, которые были начаты вместе с Мишей Стрижом, и те, которые были вынесены из загоревшейся комнаты конструкторского бюро, и те, над которыми Снесарев украдкой работал во время болезни.

Наде предстояло отвезти чертежи в тыл и вернуться, когда будет готова вся рабочая чертежная документация.

Выехать пришлось ранним утром. Еще не начинало рассветать, еще не кончился осадный комендантский час. Из воинской части прислали крытый грузовик-полуторку. Ехали с частыми остановками в городе. В фанерную дверь кузова стучали: «Пропуска! Документы!» Патрульный в полушубке влезал в кузов, луч фонарика падал на лица Нади и Снесарева. «Можно ехать дальше».

Аэродром был расположен далеко, в глухом месте, куда до войны забегали лоси. С двух сторон к посадочной площадке подходил редкий сосновый лес. В сумеречный, предутренний час он под порывами несильного ветра слегка шумел, словно печально вздыхал.

Долго пришлось ждать самолета. Снесарев и Надя вошли в землянку. На лежанке спал сменившийся с дежурства зенитчик, совсем молоденький, по-детски раскрасневшийся во сне. Они сели на круглых чурбанах возле печки, помолчали, растирая застывшие руки, расправляя затекшие плечи. Подбросили хвороста в печурку.

Зенитчик проснулся, свесил ноги, потер глаза и спросил, зевнув:

— Нет ли покурить, товарищи?

У Снесарева ничего не было, а Надя, которой на всякий случай дали коробку «Казбека», угостила зенитчика. Тот, давно не видевший хороших папирос, восхищенно сказал: «Ох!», взял голой рукой уголек, не очень умело подражая бывалым воинам, с наслаждением затянулся, любовно посмотрел на гильзу и только потом догадался поблагодарить. Вскоре он снова заснул, натянув на себя полушубок с темными масляными пятнами на коже.

— Рабочие чертежи привезут и без вас, Надя, — говорил Снесарев. — А вы там оставайтесь, право, оставайтесь, честное слово, оставайтесь! Вы только торопите их с работой — это главное. Торопите каждый день, без церемоний.

— Но почему же я должна там остаться? — спросила Надя, разматывая шарф.

Она сняла пальто, под которым оказались две надетые одна на другую вязаные кофточки — красная и синяя.

— Подруга заставила взять с собой... — объяснила Надя, указав на синюю. — Почему я должна остаться там насовсем?

— Потому что, потому что... — нерешительно продолжал Снесарев, — вам надо пожить иначе, пожить в более спокойной обстановке. Вам надо отвлечься от дум. Ходить по освещенным улицам. Чтобы отлегло у вас это напряжение. И, наконец, вам надо подкормиться, окрепнуть.

— Я буду ходить по нашим улицам! И мне не нужно отвлекаться! И вы напрасно вспомнили об этом, Василий Мироныч! — Надя строго посмотрела на него. — Я не хочу ждать, пока здесь станет легче. И я никак не думала, что вы можете об этом сказать. Если я не уехала тогда... осенью, а мне предлагали, то зачем оставаться там теперь? И, простите, мне неприятно то, что вы сказали.

— Надя, — Снесарев растерялся, — я не мог подумать, что вы это так примете. Простите меня! И все-таки мне кажется, что в вас говорит упрямство.

— Нет, совсем другое. Совсем другое... Поверьте!

«Память о Мише», — мелькнуло у Снесарева.

Снежная пыль влетела в землянку и тотчас растаяла над печуркой. Спящий пошевелился, спустив с себя полушубок.

Они говорили шепотом, чтобы не разбудить его. У Нади шепот порой становился взволнованным.

Транспортный самолет приземлился, подняв снежный вихрь, медленно оседавший по обе стороны взлетной дорожки. Дежурный торопил собравшихся:

— Скорее! Скорее! Моторы не выключаются! Прошу в машину, товарищи!

Истребители делали разворот над сосновым лесом. Им предстоит сопровождать этот самолет, прибывший с Большой земли, а запас горючего у истребителя невелик — пусть же поскорее поднимается машина, дорога каждая минута. Потому и не задерживались здесь транспортные самолеты. Сдав груз и приняв людей на борт, они сразу уходили назад; каждую минуту из-за сосен

могли показаться вражеские бомбардировщики — они подстерегали такую добычу.

— Ну, Надя, все-таки упрямая вы девочка! — Снесарев взял ее за обе руки.

— Все, все будет хорошо, Василий Мироныч! Вот посидели, как полагается, перед отъездом. Если посидели, значит, еще увидимся.

Винты самолета вращались на медленном ходу, и были видны лопасти. Надя и моряк, сопровождавший ее, поднялись по лесенке в кабину, неся чемоданы и пакет с чертежами.

Вражеский разведчик, патрулировавший над Ладожским озером, радировал на базу о том, что со стороны осажденной зоны показался транспортный самолет, окруженный сильным конвоем. Разведчику было приказано следовать сзади, пока не подоспеют истребители. Вскоре он отвалил, наведя истребителей на цель. Цель быстро удалялась. Озеро осталось позади. Внизу тянулись замерзшие болота и вырубки. На новой колее, которую проложили к озеру, дымил паровоз, таща длинный состав. Видимость была хорошей. Поднималось багровое солнце.

На мгновение зажмурился пулеметчик, вставший под колпак транспортного самолета. Он оглянулся по сторонам, посмотрел вниз. В каждый рейс это происходило в ту минуту, когда самолет шел над черными коробками трех сгоревших домов, стоявших при дороге возле опушки. Дома стояли, как напоминание о том, что здесь начинается опасная зона, а за ней лежит осажденный город.

Транспортный самолет, на котором стояли моторы старого, снятого с вооружения бомбардировщика, сковывал скорость конвоя, и вражеским летчикам удалось приблизиться. Они пытались завязать бой с конвойными истребителями, но те тотчас развернулись со стороны солнца и отвлекли на себя всю вражескую эскадрилью. Лишь один самолет противника прорвался вперед, но почему-то не рискнул подойти ближе к цели. Надя, сидевшая в кабине, ни о чем не догадывалась. Моряк, сопровождавший ее, что-то понял, но промолчал.

Транспортный самолет скрылся из виду. Окруженный плотным конвоем, он шел на восток, прижимаясь к верхушкам деревьев.

На другой день Снесарев получил телеграмму о том,

что Надя прибыла в далекий тыловой город, что получены в полной сохранности все его чертежи и объяснительные записки, что работа уже начата.

3. Возвращение Нади

Надя вернулась в Ленинград через три недели. В комнату Снесарева втащили два ящика, туго перевязанных крепкой веревкой и опечатанных сургучом.

Не сняв пальто, раскрасневшаяся от холода, Надя хлопотливо объясняла:

— Всё здесь! Весь комплект рабочих чертежей. Досылать решительно нечего!

— Дорогая моя, вы, кажется, забыли поздороваться со мной!

Надя рассмеялась. Впервые за долгое время Снесарев услышал ее смех.

— Но ведь вы ждали не меня, а ящики с чертежами. Вы ведь не хотели, чтобы я приехала, Василий Мироныч.

— Да, не хотел, чтобы вы вернулись, да, отговаривал, но знал, что обязательно вернетесь. Ну, грейтесь, грейтесь...

Надя обжигала губы о край кружки с крутым кипятком, морщилась.

— Ох, за душу схватил! Ну, ничего. Пусть весь холод из меня выбьет. Гнали же там работу, Василий Мироныч! О вас многие знают. Кланяются вам. Работали там, надо сказать, на совесть. Ночи напролет сидели. Я тоже хотела работать, не позволили — отпуск мне устроили. Я много спала. В тепле. Хорошо это! И отъедалась, простите, как свинья. И с собой продуктов дали. Один раз в театре была. Все спрашивают о Ленинграде. Но представить себе, как здесь живут, совсем не могут. Да и как представить себе такое за тысячу километров? И, знаете, что я вам скажу? У многих такое чувство, будто они виноваты в том, что им легче жить, чем нам.

— Ну, этого я не понимаю.

— И я не понимала, а чувство такое есть. Ну, потому-то и работали, не жалея себя. Поклюет чертежник носом с полчаса и опять за дело. Один инженер хотел со мной лететь, чтобы помогать вам. Требовал перевода сюда, но не пустили.

Надя так обожглась чаем, что пришлось с минуту помолчать. Она поставила кружку на стол и вытерла слезы.

— А как летели назад! Мы шли в тумане. Ничего сквозь стекла кабины не увидишь. Вот когда я струсила. Не летим, а в молочном море плывем. Второй пилот протянул мне записку. Я разобрала: «Не бойтесь, девочка, выберемся». Я ему пишу: «Где мы?» Отвечает: «Недалеко от Череповца». Скоро посветлело. Мы выбрались, сели в Череповце. Только опять все затянуло. И мы остались на день... Все-таки я с ними поругалась!

— С кем это?

— С летчиками.

— Еще чего не хватало! Почему вдруг?

— Все время меня девочкой звали. В конце концов просто надоело. Нашли себе забаву...

— Ну, расскажите, как живут в Сибири. Они не могут себе представить нас, а я их не представляю себе.

— Это верно, Василий Мироныч, трудно себе представить. Ходишь там совсем иначе: земля такая прочная, не ждешь, что над твоей головой загремит. И окна освещены, все окна, вы подумайте! Я просто обомлела. Работают много, ужас как много. Спят у станков и в конторах.

Надя ушла отдыхать, а Снесарев, разыскав Пахомыча, отправился с ним на площадку. Заводские дворы были по-прежнему пустынны, но теперь уже много следов вело к дальнему цеху. Машина, отвозившая туда детали и инструменты, проложила глубокую колею на твердом снегу.

Площадку можно было считать подготовленной. Человек сто матросов расчистили ее от железного лома и битого кирпича. Все это горой лежало в стороне. Монтер, приставив лестницу к покрытой инеем стене, чинил оборванную снарядами проводку.

На другой день площадка оживилась. Почти всю электроэнергию отдали сварщикам. В огромных очках, они водили электродами по краям листов металла, соединяя их в части корпуса.

Когда впервые вспыхнуло это голубое яркое пламя, Пахомыч поглядел на него как зачарованный, словно никогда не видел сварщика в работе.

— Видишь, начали! — Он хлопнул Снесарева по плечу. — Он жмет нас, каждый час жмет, минуты покоя нет,

спать не дает. А мы все-таки начали. И кончим! Только бы он по этому месту не бил. Тогда будет потруднее. Тогда, брат...

Далеко в стороне ударил снаряд.

4. Площадка под обстрелом

Посередине площадки вырыли укрытие. На куски старых рельсов положили броневые плиты, также старые, привезенные на завод еще в годы первой мировой войны. Поверх плит лег обгорелый битый кирпич, и на нем толстый слой земли. И еще слой кирпича, покрытый землей. И на земле снова плиты.

Надежным укрытием, на которое затратили много труда, бригада почти не пользовалась. Отовсюду в часы обстрела доносились разрывы и вой летящих снарядов. Но на территорию завода они попадали редко. Однажды все же выдалась опасная минута. Раздался пронзительный крик Ганьки, племянника Пахомыча:

— Ложись! Все!

Те, кто были поближе к укрытию, прыгнули вниз. Снесарев вбежал туда последним, другие легли ничком на том месте, где стояли. И тотчас послышался взрыв. В укрытии погасла электрическая лампочка. Спустя несколько мгновений снова послышался взрыв, подальше от площадки.

— Кого же там не досчитаемся, Василий Мироныч, а? — прошептал в темноте Пахомыч, когда все стихло. — Ну, сейчас узнается...

Он взял Снесарева за руку, и они вылезли наружу. До самой крыши цеха столбом висела густая черная пыль, поднятая силой взрыва. Она медленно оседала, словно завеса из легчайшей темной ткани, подброшенная кверху ветром. Свет в цехе погас. Кто-то в дальнем углу безуспешно чиркал спичкой.

— Все живы?! — срывающимся голосом закричал Пахомыч. — Отвечайте. Ты, Циунчик? Любимов?.. Все.., все отвечайте.

Началась перекличка во тьме.

— Я... Здесь я...

— Кочкин! — кричал мастер-универсал.

— Живо-ой я...

— Живой? Ладно.
— Селезнев!
— И я живой... Вот он я! — Из завесы выступил человек, протиравший глаза.
— Кривцов! Кривцов!.. Не слышу.
— Лежит Кривцов за баком.
— Что с ним?
— Еще там один...
Двое не ответили. Пахомыч и Снесарев побежали к баку. Застрекотала крошечная динамка: Снесарев включил карманный фонарик.
— Сюда давай! Свети! Свети! Вот... — торопливо говорил Пахомыч. — Кривцов, милый. Да ну же...
Кривцов не отвечал.
Двое лежали возле промерзшей стенки бака. Слабый подрагивающий луч фонарика осветил узенькую, как нить, струйку крови, которая нерешительно текла по лицу Кривцова. Пахомыч положил ему голову на грудь.
Кривцов пошевелился.
— Лежи, лежи! — закричал Пахомыч. — Сейчас мы тебя... Не двигайся!
Но Кривцов сел. Его лицо исказилось от боли, он показал на ухо и тихо сказал:
— До чего больно, ребята!.. Терпеть невозможно. Просто невозможно. Что такое, а? — Голос Кривцова был все такой же тихий.
— Ранен? Говори!
— Да нет, а больно.
— Значит, слышишь меня все-таки, — несколько успокоившись, сказал Пахомыч.
Кривцов и его сосед были оглушены взрывом, отброшены к баку.
— Можете ходить?.. — спросил Снесарев, работая динамкой. — Пойдите лягте. Потом врач посмотрит. Видно, легкая контузия.
— Да какая там контузия! — Кривцов поморщился от боли в ушах. — Видал я контуженых. Дойдем. Ничего.
Зажегся свет, неверный, желтый. Но теперь уже можно было осмотреться.
Снаряд влетел в окно — случай редчайший, — разорвался в воздухе, осколки помяли корпус строящегося корабля.
Пахомыч, отряхиваясь от пыли, осмотрел повреждения.



Кривцов сел. Его лицо исказилось от боли.

— Вот так и строим, — говорил он, ощупывая вмятины. — И в бою не побывал еще, и машины на нем нет, и корпус еще не сварен, а уже удостоился. Ну ладно, что так. Хорошо, что команда нашего первенца никого не потеряла.

Спустя несколько дней, которые прошли сравнительно спокойно, об этой минуте тревоги вспоминали много, иногда со смехом. Всякие подробности припоминались и, особенно, голос Ганьки — резкий и в то же время сиплый от простуды, повелительный голос.

Пахомыч посмеялся, а потом внушительно посоветовал:

— Вы особенно-то не веселитесь на его счет. А то ему кричать будет стыдно... Слышишь, Ганька, ты кричи, ничего. Глотка у тебя как сирена. Здóрово ты снаряды угадываешь. Ты по этой части у нас командир.

Ганька действительно мастерски распознавал приближение снарядов и даже начал щеголять этим умением.

— На Васильевский полетел, — говорил он, прислушиваясь. — А этот к площади. Тяжелый. Миллиметров двести. Поближе угодит. В цех «А»... И этот туда же.

— Ой, угадчик, ты, кажись, врать начинаешь! Надо бы тебя за такое дело...

— Ладно. Пока полезен — стерпим. Стерпим, Гаврила Петрович... Чуть крикнешь — мы, старики, бряк носом в землю. Не обидимся.

Строители корабля нередко опаздывали к обеду. На то была особая причина. Задерживал их Пахомыч. Он старался поставить дело так, чтобы до перерыва не оставалось недоделок. У него на этот счет были свои взгляды. Возникли они в труднейшее время после тонких наблюдений.

— С недоделкой и голодный справится, а поев, надо новое начинать. Оставь, например, недоколотую чушку, пойди обедать, а потом докалывай... Смехота.

Впоследствии, когда миновали самые трудные дни, Пахомыч признавался Снесареву, что скрепя сердце прибегал он к такой мере.

Снесарев говорил:

— А не слишком ли круто? Все-таки задерживаем людей.

Пахомычу очень не нравилось такое возражение.

— Ну, будто я не знаю! Бывает, что и с самим собой надо круто поступить. Даже с хитрецой. Люди понимают, не обижаются.

— То есть не говорят об этом?

— Нет, в душе не обижаются. Поверь мне. Тут и на перекурку минуты нет. Потому-то я и просил списать Лабзина — мешал байками...

Завод все время находился в зоне обстрела. Еще осенью заложили кирпичами все окна, выходившие на запад. Здание столовой было совершенно разбито. В комнате, которую отвели под столовую, также пришлось заделать окна, и потому ее прозвали блиндажом. С потолка на длинном шнуре спускалась единственная электрическая лампочка. При разрывах, хотя бы дальних, она раскачивалась из стороны в сторону.

Случалось, что за обедом кто-нибудь поднимал голову и прислушивался.

— А ведь царапнуло по нашему блиндажу, по стенке...

— Как будто...

Говорить об этом не любили.

Строителей корабля кормили чуть лучше, чем других заводских. Обслуживал столовую Лабзин, человек брехливый, но расторопный, приложивший к этому делу много стараний. Худой, длинный, будто двигавшийся на шарнирах, он подсаживался к одному, к другому и всем надоедал шутками:

— Как сегодня каша? С выжарками готовили. Книгу жалоб и пожеланий подать? Прикажите.

— Лабзин, дай поесть спокойно. Катись ты на своих шарнирах!

Но Лабзин не унимался.

— Вспоминаю, — неторопливо рассказывал он, втягивая в себя воздух, — тут на Забалканском была столовая и называлась: «Как у мамы». На вывеске это было написано. Значит, частный сектор тогда действовал. Ну и кормили. Ложка в борще стояла.

— Лабзин, отстань ты с этой ерундой! Не было такой столовой.

— Придумал он эту маму!

— Что же, значит, я вру? — начинал кипятиться Лабзин.

— Брехать — это ты умеешь...

Пахомыч нетерпеливо стучал ложкой по столу, повышая голос:

— Пойми, Лабзин, дурья голова, что не ко времени брехня такая. Ведь люди только-только на ноги становятся. Ну зачем ты про мамин борщ расписываешь? Ведь от этого у человека воображение распаляется!

— Да это я к разговору...

— Не хочешь понимать? Так слушай. За такие разговоры штрафовать буду!

— Какой еще штраф? — удивлялись обедающие.

— Основательный. Как высшую меру! Кашу отбирать буду, как штраф. Полпорции и даже больше.

— Права такого не имеешь, бригадир.

— Шучу, конечно, но язык нельзя распускать... А тебе, Лабзин, совсем серьезно говорю — сними язык с плеча! Одним словом, не треплись. Надоело!

Но Лабзин не унимался — он не мог жить без таких разговоров. И однажды Кривцов, который после контузии ходил, опираясь на палку, с раздражением сказал, что за такую брехню надо бы гнать с завода.

Лабзин вскочил и закричал:

— Меня выгнать? За что?

Он сорвался с места и убежал на кухню. Через секунду с треском распахнулось окошко, через которое подавалась еда из кухни. Высунув из него голову, Лабзин закричал:

— Идите сюда! Всё проверяйте, по книгам, по накладным — как хотите! Если что не сойдется, вешайте на заводских воротах!

Но тут все дружно рассмеялись.

— А чтоб вас!.. — Он с треском захлопнул дверцу. — Неси им кипяток! Заварку всыпала? — послышался за стеной голос Лабзина.

— Беспокойный мужик...

Снаряды зачастили. Снег на заводских дворах закоптел от разрывов. Электровоз и тележки, вмерзшие в пути, были разбиты, рельсы покорежены.

Однажды обстрел запер людей в цехе на круглые сутки. Гитлеровцы яростно обстреливали подходы к площадке, где строился корабль.

«Неужели они нащупали нас?» — с мучительной тревогой думал Снесарев.

К утру с крыши по пожарной лестнице спустился молодой артиллерист-наблюдатель. Он продрог и падал с ног от усталости.

— Нет ли закурить? — тихо спросил он, снимая рукавом полушубка иней, слепивший ресницы.

Ему молча свернули закрутку. Было понятно, что он голоден, но все не ели со вчерашнего дня.

Утром в столовую прибежала Надя.

— Надо им принести туда что-нибудь! Они же не ели! — накинулась она на Лабзина.

— Знаю, что надо. А как принесешь? — сердито откликнулся Лабзин. — У меня военного транспорта не имеется.

— Надо супу снести туда.

— Есть у нас суп. Горячий. Пусть пришлют — отпущу. Пожалуйста!

— Да ведь им-то два раза по этому месту идти, товарищ Лабзин.

— А нам?

— Нам? — Надя задумалась.

— Вот то-то и оно...

— Нет, погодите, не «то-то и оно»! Пойдем принесем и останемся там, пока не утихнет.

— Выдумки! — Лабзин отвернулся и стал скоблить ножом стол. — И чего вы от меня все хотите? — вдруг закричал он.

— Нет, вы так не отвертитесь! — Надя схватила его за руку, вырвала нож и бросила в сторону. — Собирайтесь! Немедленно собирайтесь!

— Пусти! От чего это мне отвертываться, девчонка!

— Вам это поручили, вы и должны... Мы как на фронте. И нечего разговаривать! Где термос?

— Я не нанимался под снарядами ходить.

— Ах, так? Трус! — кричала Надя. — Гнать таких надо! Гнать с завода!

— Не ругайся. Сама иди!

— И пойду! Давайте посуду.

Спустившись во двор, Надя почувствовала, что одной ей не донести тяжелый термос. Она остановилась в нерешительности. Кого бы позвать на помощь? Оглядываясь, она заметила, что к ней с салазками направляется Лабзин.

— Ну, пойдем вместе... Только не ругайся! — сказал он, криво улыбаясь.

— Я сгоряча...

— Сгоряча! Лабзин то, Лабзин сё... Ох, надоело!.. Ты можешь и совсем не ходить — сам дотащу.

— Нет уж, давайте вместе.

Они благополучно миновали разрушенный корпус, прошли двумя внутренними дворами. На тех местах, где оголилась земля, Надя сзади подталкивала салазки. Когда огибали угол котельной, Лабзин поглядел вперед и остановился:

— Нет прохода. Подождем... покуда.

Надя молча оттолкнула его.

Из цеха издалека увидели, что какой-то человек поравнялся со щитом, на котором до войны вывешивали портреты лучших людей. Сколько снарядов с завыванием пронеслось над щитом, а он все еще стоял среди воронок на почерневшем снегу.

Человек этот постоял, сделал несколько шагов и вдруг упал. Он скрылся в облаке снежной пыли. Снаряд ударил совсем близко от него — метрах в тридцати.

— Кто бы это мог быть, ребята? — спросил Пахомыч, осторожно приоткрыв дверь, вглядываясь вперед. — И несет что-то. Не вижу.

— Термос несет.

— Термос?

— Не несет, за веревку его тащит.

— Значит, кашевара нашего послали. Ну, добро!

— Зря мы Лабзина ругали.

Грохнули еще два разрыва. Человек поднялся, перебежал и снова повалился у сугроба. На стенках термоса заиграло солнце. И тогда Снесарев узнал, нет — почувствовал... Это была Надя! Надя в ватнике, повязанная большим белым платком. По платку он и узнал ее.

— Шальная! — волнуясь, крикнул Снесарев. — Ну шальная же! Ведь не дойти сюда! В воронку! Скорее в воронку! — Он распахнул дверь.

Громко кричать Снесарев не мог — он закашлялся, схватился за горло.

— Постой! Ганька крикнет. Ну-ка! — сказал Пахомыч.

И Ганька пронзительно завопил:

— Лежи! Не вставай!

Прошла томительная минута. Ганька заметил, что термос пошевелился.

— Лежи! — опять заголосил он.

Артиллерист-наблюдатель, стоявший в стороне и что-то незаметно мастеривший, подвинулся вперед и метнул к тому месту, где виднелся термос, крючок на тонком тросе.

— Зацепи его за ручку! За руч-ку! Мы потащим! — неистово закричал Ганька. — Зацепи-и!

— Эх-х! — вздохнули все разом.

Крючок упал метрах в десяти от сугроба.

— Оставь его там! Оста-вь! Не ходи сюда! — надрывался Ганька.

Все отошли от двери и столпились возле пролома в стене, сквозь который особенно хорошо был виден этот угол двора. Сорок или пятьдесят метров были сейчас неодолимы.

— Ганька, — сказал артиллерист-наблюдатель, — крикни погромче, чтоб укрылась за трансформаторной будкой. Там тише.

— Ползи за трансформатор! За транс-фор-ма-тор! Брось бидон!

— Ползет, ползет, — шептал артиллерист. — Так, так... Н-ну...

Надя скрылась из виду. А солнце все еще играло на стенке термоса.

Обстрел продолжался. Открытое место заволокло дымом. Ветер, поминутно менявший направление, нес его то в сторону канала, то назад. На мгновение становилось светлее, потом опять заволакивало подходы. Ударили почти сразу два или три тяжелых снаряда. В цехе жалобно зазвенели железные перекрытия.

— В самое время она ушла... — сказал Пахомыч. — Нет ли закурить?

Махорка у всех кончилась. Пахомыч стал пить из огромной кружки остывшую воду. Он отвернулся, чтобы скрыть слезы, вдруг закапавшие по его бороде, и отчаянно выругался. Тут он вспомнил, что рядом стоит Ганька, и досадливо махнул рукой.

— Да что это такое! — кричал он, топая ногами. — Почему он нас держит? То не дает работать, то голодными держит. Долго так будет? Я спрашиваю: долго так будет?

В эту минуту он, всегда такой оживленный и бодрый, казался старым и беспомощным.

Выглянув в пролом, Ганька сказал:

— Опять кто-то идет.

Пахомыч посмотрел в ту сторону:

— Господи, неужели Лабзин?

— Он! Журавль!

Лабзин, таща за собой салазки, падал в снег, полз, перебегал. Потом, низко пригнувшись, он стал толкать салазки вперед. Так он дотащился до цеха и прислонился к стене, тяжело дыша:

— Принимайте! Эх, ложки-то я забыл! А хлеб — вот...

Термос был наполовину пуст, корпус пробило осколком. Остатки супа обледенели. Их растопили в котелке.

— Второй раз я эту девчонку уже не пустил! — смущенно говорил Лабзин. — Все-таки я когда-то строевой был. Для меня обстрел — тьфу!

Все расхохотались:

— Обстрелы — тьфу, только переползать не любишь?

Лабзин нахохлился, потом улыбнулся и вздохнул:

— Нет, не люблю. Меня от этих снарядов всего выворачивает, прямо больной становлюсь.

5. «Понтонеры»

Дней на десять установилось удивительное затишье. Снаряды пролетали где-то вдали. Они уже почти не мешали работе.

Но вскоре поздно ночью за Снесаревым прибежал Пахомыч. Он отчаянно заколотил в дверь:

— Вставай, беда!..

Они понеслись через темные дворы. Снесарев почувствовал, что в воздухе тянет гарью. А потом он увидел мгновенно взметнувшееся пламя. Сбоку мелькнули силуэты людей. Это была аварийная команда. Возле цеха кого-то укладывали на носилки-полозья.

— Ну что? — спросил Пахомыч.

— Кончается... — негромко ответили из темноты.

— Сторож тут стоял, когда ударили, — торопливо объяснял Пахомыч. — Вот его и задело.

Опять в стороне мелькнули отблески пламени.

— Снегом, снегом забрасывай! — кричали там. — Кидай снег с крыши!

В отблесках огня Снесарев увидел сорванную с петель дверь цеха. Вбежав внутрь, он споткнулся и едва удержался на ногах. Снесарев и Пахомыч, окликая друг друга, стали осторожно продвигаться вперед.

— Сначала в тот склад ударило, — задыхаясь, говорил Пахомыч. — Ветошка загорелась. Зря не вывезли ее, вся промаслена... Потом еще куда-то ударило, потом три влепило сюда. Подряд три, подряд!

Снесарев направлял во все стороны лучи фонарика. У него сжималось сердце. Даже в этом слабом, неверном свете он увидел, что разрушения были большие. Сварочные аппараты, недавно установленный здесь болторезный станок — все лежало в обломках. На ребро свалился тяжелый верстак...

Сразу стало понятно, что эти три снаряда отодвинули работу далеко назад, почти к тому давнему дню, когда матросы, присланные адмиралом, расчистили площадку.

Утром у заводских ворот Снесарев встретил адмирала и Ваулина. Снова был осмотрен цех. Света, который падал сквозь широкие пробоины, было достаточно.

— Точно ли у вас известно, куда падали снаряды? — спросил Ваулин.

— Нет, — ответил Снесарев, — систематических наблюдений мы не вели. У нас есть только приблизительные данные.

— За все время?

— За последний месяц они точнее.

— Ну, давайте и приблизительные и точные...

Ваулин сидел над планом завода. Он делал на нем пометки цветным карандашом. Весь лист покрылся синими и красными кружками. Возле многих кружков были проставлены даты. У других кружков, где стоял вопросительный знак, сведения считались недостоверными. Так были отмечены те места на территории завода, где разорвались снаряды.

— Может быть, тут и есть своего рода закономерность, — сказал Ваулин. — Но вывод делать еще рано. И наблюдения надо вести тщательно. Можете вы поставить дело так, чтобы точно обозначался день и час падения снаряда?

— Думаю, что удастся.

Адмирал в раздумье глядел на план завода.

Совещание длилось долго. Утром пришла группа матросов. В ней было больше людей, чем в прежней. Матросы стали приводить в порядок другую площадку. Между двумя площадками проложили дорогу. Решено было работу, насколько удастся, дублировать. Всегда будут стоять наготове грузовики. В случае опасности грузовики увозят самое ценное. Часть людей отправляется с машинами, другие немедленно уходят в укрытие.

— Обстановка, что и говорить, очень напряженная. — Снесарев развел руками. — В ней, я бы сказал, есть даже элементы военной тактики.

— Да, приходится хитрить, — сказал адмирал.

— Людей, людей у нас мало!

— Вам пришлют подкрепление с другого завода. Но, скажите, не смущает ли все-таки вас такая сложная организация работы? Должен признаться, что я услышал сомнение в вашем голосе, — сказал адмирал.

— Что же делать? Завтра мы это проверим.

— Как?

— Попробуем провести пробный тактический маневр.

Странному на первый взгляд занятию было посвящено следующее утро. Оно выдалось тихое. Вдали от завода раздавались редкие разрывы. Но люди вели себя так, словно находились в зоне обстрела.

— Огонь! — пронзительно кричал Ганька.

И машина, стоявшая наготове, — машина, на которой было сложено самое ценное, то, что не могло быть пополнено из запасов, уходила на запасную площадку. И люди действовали как под настоящим огнем.

Несколько раз в течение дня повторялся этот утомительный маневр. Всем он надоел.

Спустя сутки работа возобновилась. Снесарев опасался, что теперь люди будут работать не так горячо, не так уверенно, как прежде.

— Если один снаряд может всё снести, руки у людей опустятся...

— Нет, не опустятся, — возражал Пахомыч. — Ты видел когда-нибудь, как понтонеры работают?.. Не видел? Разнесет понтоны снарядами, а они опять и опять соби-

рают, пока не наведут. Так и мы, брат! Ты смотри — за все время ни одного прогула! Ну, может, поворчат, а скажи им, чтобы шли по домам — завтра сами наведаются, не нужны ли.

Работа стала томительно тяжелой. Часто не хватало самого нужного. Но всегда Пахомыч выручал. Он знал завод до мелочей. Он разыскивал такие детали, за которыми собирались посылать самолет. Нужны были сверла, и Пахомыч откуда-то приносил сверла, лучше которых на заводе не было и в мирное время. Труднее всего было подобрать трубы. Он рылся в кладовых, в пустых цехах, откуда-то снимал, подгонял, примерял, совершенно запарился, но собрал нужный комплект. Иногда он отправлялся с грузовичком на другие заводы, к старым знакомым, и привозил то, что было необходимо.

— Пахомыч, — спросил его кто-то, — а откуда эти плиты, которые мы положили на укрытие?

Мастер подумал, пошевелил губами и ответил:

— А плиты эти, милый мой, от «Аскольда» остались. Вон с каких пор лежали у нас!

— Как — от «Аскольда»? Что за штука?

— Не штука, а крейсер. Еще в царское время, перед германской войной, запасный комплект броневых плит для него готовили. Никакому кораблю больше не подходил. Часть плит потом переплавили, а эти остались. Н-да... Давно это было. Я тогда еще парнишкой был, не умнее, чем ты сейчас, друг.

В эти дни в Пахомыче произошла перемена, которую не сразу заметили: он больше не рассказывал о своем приятельстве с легендарным Петром Акиндиновичем Титовым. Почему? Об этом можно было только догадываться. Вероятно, наедине с собой Пахомыч решил, что теперь, в суровое время, когда смелость и правдивость — голова всему, недостойно прихвастывать и выдумывать побасенки. Старик отказался от невинной фантазии, которую ему все прощали. Нет, не видел он Петра Акиндиновича вон на том стапеле, не признавался Титов молодому дружку Пахомычу, что «трудно дается наука в старости». Пахомыч не вернулся к своим рассказам о любимом герое даже тогда, когда городу стало много легче.

В середине марта Пахомыч едва не погиб. Он задержался со сварщиками в цехе, когда другие уже разошлись, и в это время возле покалеченного подъемного

крана разорвался снаряд. Раскаленный электрод взлетел на воздух, описав в темноте огненную дугу. В первую минуту ничего нельзя было разобрать. Раздался отчаянный крик. Снесарев, стоявший снаружи, узнал голос Ганьки. Он побежал в цех. Туда уже спешила спасательная команда.

Пахомыч лежал без чувств, отброшенный к стене. Очнувшись, он спросил:

— Ганька?

— Ничего. Цел.

— Ганька, подойди. Что с тобой?

— Да ничего!

Лицо мальчишки было в крови. Мельчайшие осколки исцарапали ему щеки.

— Со всеми обошлось?

— Нет, Пахомыч, не со всеми. — Снесарев наклонился к нему.

— Кто? Не томи. Говори скорей!

— Кривцов.

— Кривцов? — Пахомыч медленно поднялся. — Все-таки... Тогда его задело, а теперь конец... Где он?

— Там лежит.

Пахомыч пошел в угол и долго смотрел. Потом вынул платок, накрыл убитому лицо и ничего не сказал. Но вечером, придя к Снесареву поговорить насчет плана работ на следующий день, он вдруг сказал:

— А мы с Кривцовым в один год сюда поступали, мальчишками...

И слезы задрожали на кончиках прокуренных усов.

6. Ночной аэродром

Он расположен в стороне от трамвайной линии, которая ведет по правому берегу Невы, в тихом месте. Место это начали обживать незадолго до войны. Возле трамвайного кольца, окруженного бурьяном, появились два больших дома. Новую улицу замостили булыжниками, но не успели покрыть асфальтом. Дизельные катки так и остались здесь — дизелистов призвали в армию, машины некому было отвести. Теперь в одном из домов поместился штаб армии. На крыше стояли легкие зенитные орудия и счетверенные пулеметы.

За этими домами кружит наспех проложенная в войну узкая дорога — сущее мученье в дождливое время, в оттепель, в буран. Она ведет через редкий низкорослый лес, а там — на большой поляне — аэродром. С него еще не взлетала ни одна машина, но площадку бомбили не раз. После разрывов долго стлался черный дым. Но на другой день с двухсот—трехсотметровой высоты снова можно было различить боевые машины, готовые к взлету. Но и они также не отрывались от земли.

Это был ложный аэродром. Огромные деревянные макеты самолетов и открытые баки с отработанным мазутом, запас которого обновлялся после каждого вражеского налета, стояли по углам площадки. Если бомбы не задевали ни макетов, ни баков, они все же загорались. Цель поражена—так мог доложить командованию вражеский летчик. И немало орденов было роздано фашистским летчикам за дневные налеты на этот «аэродром».

А настоящий аэродром, надежно укрытый, защищенный сильной зенитной артиллерией, находился в двух километрах отсюда, в пустынном месте, куда прежде редко-редко заглядывали даже старые охотники, сызмальства знавшие леса и пустоши окрестностей Ленинграда.

С этого аэродрома поднимались истребители, охранявшие ночное небо осажденного города. До центра города отсюда не больше трех минут лёта. В канун Октябрьской годовщины прохожие на улицах видели, как луч прожектора догнал и не выпустил вражеский бомбардировщик, как наш патрульный истребитель протаранил метавшуюся в скрещении лучей двухмоторную машину.

Спустя минуту летчик-истребитель Алексей Самохин спустился на набережную Обводного канала, в затемненный двор химического завода, и отцепил парашют.

Его окружили сторожа:

— Цел?

— Цел. Но потерял машину и одну унту. Отвязалась в воздухе. Если утром найдете, доставьте в часть, — совершенно спокойно объяснил Самохин.

В это время возле Смольного старая женщина снимала с крыши притаившегося за дымовой трубой командира вражеской протараненной машины. Он выбросился на парашюте, остальные погибли. Спустя полчаса Алексей Самохин и командир «Хейнкеля» встретились в штабе противовоздушной обороны и поглядели друг на друга...

С тех пор Самохин вылетал только ночью. Днем он спал. «Аэродром сов и филинов» — так летчики прозвали свою стоянку в глухой части пригорода.

Трудна служба летчика-ночника. В давно прошедшее время в авиации говорили, что подъем труден, полет приятен, а приземление опасно. Для ночника в осажденном городе было опасно все — и взлет, и полет, и приземление. Вылетать приходилось по нескольку раз в ночь. Скупые лучи прожекторов подсвечивали взлетную дорожку очень осторожно. Конечно, на земле все орудийные расчеты знали, что в воздухе ходит наш патруль. И кто не слышал о Самохине! Но ведь это ночной полет истребителя — схватка будет короткой и для кого-нибудь роковой. А посадка... У истребителя невелик запас горючего. Если он днем просчитается на минуту-другую — все поправимо, можно дотянуть. А ночью, когда внизу огромный город, нельзя просчитаться и на полминуты, нельзя уклониться от курса. Надо точно найти свою базу в пригороде. Опять чуть-чуть подсвечивает прожектор, устилая бледным лучом дорожку. Толчок, газ выключен, можно отстегнуть ремни. Можно ли? Не будет ли приказа вылететь снова, пополнив боекомплект? Нет, лучи погасли, легкий ветер донес шорох леса. Боевой день — нет, не день, а боевая ночь окончена.

Самохин засыпал сразу, едва покончив с умыванием. А потом наступал все же день, казавшийся томительно долгим. Его не могли целиком заполнить ни тактический разбор операций, ни учеба, ни письма к родным, ни газета, ни шахматы, ни гимнастика. Выйти было некуда — со всех сторон пустоши и леса. Можно ли поверить, что совсем близко отсюда Ленинград?

В мартовские дни Самохину несколько раз приходилось вылетать на особом самолете с очень простым и неинтересным заданием.

— В чем же смысл такой задачи, старший лейтенант Самохин?—спрашивал сосед по койке и друг по училищу.

— Не понимаю, старший лейтенант Федоров...

— И не догадываешься?

— Догадываюсь, но отдаленно. Неудобно будет перед сыном, когда он меня спросит: «А что же именно ты делал в такие-то дни?» Что я отвечу?

— Ну, к тому времени, когда твой сын, которому нынче год...

— ...Два года.

— ...извиняюсь, два года... вырастет, и ты всё узнаешь.

— Надеюсь, но одно неприятно. На земле ведь могут подумать, что летает «стекольщик». Понимаешь?

— Да, понимаю.

— Ведь звук у меня не свой, а его. И клянут же меня, наверное.

Самохину приказывали летать в определенных квадратах. Только летать. Он знал, что в это время никого больше в воздухе нет, что боевая встреча невозможна. А он кружил, кружил над этими квадратами, и мотор надсадно гудел. Летчик знал, что под ним Васильевский остров, набережная, вытянувшееся поперек острова здание университета, занимающее целую улицу, дальше Академия художеств, гранитные сходни со знаменитыми сфинксами, Исаакиевский собор, Горный институт... Два моста через Неву, памятник Петру (говорят, укрытый мешками с песком), дальше — вниз по Неве судостроительный завод.

Но ничего этого Самохин не видел, перед ним лежала карта, чуть освещенная синей лампочкой. Он мог только вспоминать об этих кварталах красивейшей части города, глядя на карту, обозначенную номерными квадратами. Под ним не было ни огонька, а когда расступались на минуту облака, он в непроглядной тьме различал лишь высоко посаженный над городом купол Исаакиевского собора. И летчик кружил, кружил, пока хватало горючего, над этими квадратами затемненного города и на базу возвращался уставший больше, чем после настоящего боевого вылета. И, пожалуй, никто, кроме Самохина, не получал таких заданий.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

1. «Два льва сторожевые...»

Однажды, возвращаясь на военном грузовике на завод, Пахомыч увидел, как по набережной канала пробирались мальчик и девочка. Плотно укутанные, в лыжных штанах, они переваливались через сугробы и как будто торопились. Пахомыч остановил машину и поманил к се-

бе детей. Ему бросилось в глаза, что оба были со школьными сумками.

— Куда вы идете, ребята? — спросил он, перегнувшись через борт.

— В школу.

— В школу?

Он не думал до этой встречи, что в городе могут быть открыты школы. Поздней осенью он слышал о том, что занятия прекратились.

— Неужели в школу?

— Да.

На лицах не было ни детской свежести, ни румянца, но глаза, глубоко запавшие глаза, смотрели на Пахомыча бойко.

— Ах вы, пичуги... А где же ваша школа?

— На площади. В доме, где два льва.

— А, знаю... Подвезти, что ли?

Приглашение не надо было повторять.

— Ой, дядя!..

Дети тотчас полезли через борт. Но сначала они перекинули сумки и два полена, перевязанные веревкой.

— А это что?

— В школе не топят, дядя.

— Понимаю — со своим, значит, топливом. И все-таки учитесь? И уроки готовите, и отметки вам ставят, как раньше было?

— Порядок! — успокоительно протянул мальчик.

— А если идете в школу — и обстрел? Что тогда?

— Ну-у, дядя... — Девочка укоризненно посмотрела на Пахомыча.

Надо ли объяснять это? Живут так, как все в городе. Должно быть, не раз заставал их обстрел на улице.

— Вы тогда хоть в подворотню ложитесь, — на всякий случай посоветовал Пахомыч.

— А что вы везете, дядя? — Девочке, видимо, не понравился этот поворот разговора. Совет был не новым — оба школьника не раз спасались в подворотнях.

— Так... Всякую всячину для одной работы...

Для того чтобы добыть эту «всячину», Пахомыч за ночь перерыл на большом старом заводе несколько замороженных кладовых.

— А есть еще школы в городе? — спросил он.

— Не знаю. А почему, дядя, машина тихо идет? — спросил мальчик.

— Бензина нет.

— Совсем нет?

— Для этой машины совсем, брат, нет.

— А разве может машина без бензина ходить?

— Наша ходит.

— А как же?

— Видел ты аэростаты воздушного заграждения?

— Азики?.. Видел осенью.

— То-то и оно, что осенью. А теперь их в небе нет. Вот на том газе, что их поднимали, ходит наша машина, только, верно, тихо.

— Не может этого быть! — решительно заявил мальчик, поправив слишком просторную ушанку, низко сползшую на лоб. — Вы смеетесь, дядя.

— Что — не может быть?

— Не пойдет она на таком газе.

— Почему это?

— В небо этот газ азик поднимет, а машину не стронет с места. Азик легкий, а машина тяжелая.

— А вот стронул и тебя везет.

Пахомыч посмеивался. А школьник поворачивался во все стороны, стараясь обнаружить признаки того, что везет его какая-то особая, небывалая машина. Но такие признаки не обнаруживались. Это была обыкновенная, изрядно потрепанная трехтонка.

Пахомыч подвез детей к большому старинному зданию на площади.

«Прощайте, дядя! Спасибо, дядя!» — Всю обратную дорогу ему слышались возбужденные, звонкие голоса детей.

После этой встречи Пахомыч стал думать о том, что надо бы и Ганьку определить в школу. Он стал наводить справки. Оказалось, что школы были закрыты поздней осенью, а в январе, после того как немного увеличили хлебный паек, в нескольких школах снова начались занятия. В январе Ленинградский городской Совет постановил обеспечить каждого школьника тарелкой супа. Без этой тарелки супа дети не смогли бы учиться.

Пахомыч все посматривал, посматривал на Ганьку и, наконец, объявил:

— Надо тебе, брат, в школу!

— А зачем? — Ганька не обнаружил ни малейшей радости.

— Совсем одичаешь без школы... Непорядок...

Ганька не сдавался:

— Я ж работаю. Не болтаюсь тут зря...

Ему очень льстило то, что его приняли в бригаду, которая строит боевой корабль новой конструкции. А в бригаде-то какие мастера своего дела! И он, Ганька, на равных правах с ними!

— За это тебе спасибо. Если будут отличия, и тебя не обойдут... Верно, Василий Мироныч?

— Не сомневайся в этом, Ганька, — подтвердил Снесарев.

— А теперь собирайся! — Пахомыч оборвал спор.

Ганька приуныл, но на другой день отправился с Пахомычем в школу. Идти было далеко — к тому старинному дому на площади, куда недавно Пахомыч подвез двух школьников. В доме было пусто и тихо.

— На два дня перерыв. Водопровод замерз. Учителя и ученики носили воду с Невы на хлебозавод, а то и хлеба не было бы, — объяснила старая служительница.

В огромных, не по ноге, валенках, закутанная в платок, она сидела в глубоком кресле возле мраморной лестницы.

— К кому же нам?

— Идите по коридору, постучитесь в последнюю дверь. Только темно в коридоре. Вы осторожнее, на парты не наткнитесь.

У Пахомыча был с собой фонарь-динамка. Он осветил им коридор, надпись на последней двери («заведующий учебной частью»), постучал не без робости..

Маленькая комната, освещенная плошкой, была завалена книгами, бумагами.

— Товарищ Глинская вы будете?

— Я Мария Федоровна Глинская, — ответила пожилая худощавая женщина, гладко причесанная, седая.

— Я... вот звонил в отдел образования. Я с завода...

— Знаю. Мне звонили из районо. Ну что ж... Племянник ваш?

— Родной племянник. Сирота. Гавриил, Ганя.

— Здравствуй, Ганя. Скажи, ты до войны в каком классе учился?

— В пятом.

— А когда началась война?

— Не пришлось...

— Трудно тебе будет. Ты отстал.

— Уж вы, пожалуйста, Мария Федоровна, помогите. Конечно, трудно ему будет. Тут и моя вина есть — не догадался я осенью. Голова шла кругом, — сказал Пахомыч.

— А учебники есть?

— Нет... Где ж... — протянул Ганька.

— А что у тебя на лице такое?

Глубокие царапины на щеках и на лбу, появившиеся после того, как Ганьку осыпало мельчайшими осколками снаряда, еще не зажили.

— В деле он был, — отозвался Пахомыч.

— В каком деле?

— Да можно сказать — в боевом.

Ганьке пришлось по душе, что так говорили о нем.

— Вот что... У нас здесь девочка есть, тоже боевая, — Наташа. Партизаны через фронт переправили. Всю семью — отца, мать, бабушку — фашисты уничтожили. Учительская была семья.

— У вас она в школе? — спросил Пахомыч.

— Кроме нашей школы, ничего у нее пока нет.

Последовало короткое молчание. Волнение, охватившее взрослых, передалось и Ганьке. Он сидел притихший.

— Так вот, послезавтра можно приходить. Дайте документы — оформим. Я сама с тобой займусь. Ты вот это видел?

— А что это такое, позвольте спросить? — полюбопытствовал Пахомыч.

— Картины на исторические темы. Если переедем наверх, развешаем там. А теперь нет места. Пока что в коридоре занимаемся.

— Зачем же в коридоре?

— Во время обстрела меньше опасности.

Нет, Ганьке не приходилось видеть эти картины, и сейчас он их рассматривал с огромным интересом. Да и Пахомычу было очень интересно.

— А может, мы вас отрываем от дела? — деликатно осведомился он.

— Пожалуйста, пожалуйста, смотрите.

Эти несколько часов перерыва после дней, каждая

минута которых полна была острой напряженности, были для Пахомыча хорошей разрядкой.

— Мария Федоровна, кого же это гонят новгородцы?

— Князя Дмитрия Александровича. Сына Александра Невского, плохого сына.

— Значит, сын-то не в отца был. Смотри, Ганька, один на него даже палкой замахнулся.

Ганьку больше всего занимала охота на мамонта. Мамонт стоял в яме-ловушке, и в него, разъяренного, летели дротики. Но не мог понять Ганька, почему у охотников нет луков— ведь с ними удобнее.

— Тогда у людей еще не было лука, Ганя.

С этого начались для Ганьки уроки истории в блокадной школе. Но он упорствовал.

— При мамонте еще не было луков?

— Да, не было.

— Были! Ну как же без них?

— А ты слушай, что тебе говорят... — вмешался Пахомыч. — А, позвольте узнать, когда же их смастерили?

— Что?

— Луки.

— Гораздо позже, тысяч пятнадцать лет назад.

— Совсем недавно... — Пахомыч усмехнулся. — Ох, и радовался, должно быть, первый, кто смастерил! Я, мол, всех могу теперь достать, а меня достань-ка. Вот встану на такое место, что не достанешь меня, а ты у меня под прицелом. Всех до одного покорю! Плясал, наверное, от радости. Вот уж хвастал!

— Да вы шутник, оказывается, Сергей Пахомыч.

— Я-то? Самую малость, Мария Федоровна. А вот те, что всех покоряли, — те перешутили. Когда пулемет изобрели, тоже считалось, что первый, кто смастерил, всех под свою руку возьмет, а остальным капут. И когда динамит — то же самое: я, мол, всех сильней, все мне служите. И газы ядовитые также. А войны-то идут, идут, одна за другой. Одна другой страшнее, кровавее. Окончатся когда-нибудь войны, но уже по новой причине... Однако надоели мы вам, Мария Федоровна.

Решено было, что Ганька, прихватив хлеб, будет уходить в школу. В случае особой опасности он там останется до другого дня. Предполагалось, что в ближайшее время ученикам, кроме тарелки супа, будут выдавать еще и соевую котлетку. А там, возможно, и по куску сахара.

Прощаясь, Ганька неожиданно спросил:

— Мария Федоровна, а почему он у вас без хвоста?

— Кто?

— Да лев, который стоит направо, у парадного крыльца?

— А-а... Так ты это заметил? Да, Ганя, без хвоста. Лев у нас тоже в боевом деле был. Хвост осколком оторвало. Он в кладовой лежит. Когда потише станет, приладим льву хвост.

— Ну вот, Ганька, теперь, можно сказать, ты при настоящем деле, которое и положено твоим годам, — говорил Пахомыч на обратном пути. — Так-то, Ганечка...

Ганька не отвечал. Пахомыча забавляло то, что Ганька хмурится, и, посмеиваясь, он несколько раз повторил запомнившиеся ему слова, выведенные вязью, которые увидел в школе на одном из старинных рисунков:

— Розгой дух святой детище бити велит... Так-то с вашим братом, Гаврила.

Но тут уж Ганька не выдержал:

— Как бы не так! Я этому духу святому покажу... Пусть только попробует!..

— А может быть, этот дух святой — я? — посмеивался Пахомыч.

Он был очень доволен тем, что все так легко устроилось с учением племянника.

Через два дня Ганька отправился в далекую школу: в дом на площади, где стояли два льва сторожевых, один из них временно без хвоста.

2. Схватка на льду

Ваулин несколько раз приезжал на завод. Он наносил на свою карту те данные об обстрелах, которые теперь тщательно собирали для него, и в одну из встреч со Снесаревым как бы мимоходом сказал ему:

— А ведь закономерность, пожалуй, есть?

— Пожалуй, есть...

— Узнаю конструктора. Во всем любите точность. Но это такое «пожалуй», которое заключает в себе немалую долю уверенности.

— Значит, это ваш твердый вывод?

— Почти...

— Что же нам делать с ним?

— С моим выводом? В ближайшие дни решим... Скажите, Василий Мироныч, очень вам трудно?

— Не жаловался, а теперь близок к этому. Устаю. Стыдно — Пахомыч старше, а гораздо выносливее. Так устаю, что проспал ночную воздушную тревогу. Смутно что-то слышал и не мог проснуться. И почему-то не разбудили.

— Ничего ведь не случилось?

— Да, ничего. А все-таки, согласитесь, неудобно...

— Письма от семьи получаете?

— Письма приходят. А у вас?

— И у меня... Что думаете сейчас делать? Не хотите ли по городу проехаться? Маленькая встряска вам не помешает.

— Ну-у, встряски у меня каждый день!

— Однообразные. А это все-таки развлечение. Когда последний раз были в городе?

— Не помню.

— Так поедем?

— Нет, спать, спать, на ногах не стою.

— В таком случае, приятных сновидений!

Но спокойно поспать не удалось. Ночью воздушная тревога повторилась. На этот раз Снесарев проснулся, быстро оделся и вышел во двор. Небо было закрыто тучами. В редких просветах виднелись бледные звезды. Доносились одинокие выстрелы зениток. Лучи двух прожекторов медленно поднялись, встали почти отвесно, потом начали опускаться, скрестились, разошлись в разные стороны, опять скрестились и пропали из виду. «Скупо светят», — подумал Снесарев.

По звуку моторов можно было понять, что «Юнкерс» кружит над самым заводом. Прерывистое характерное гудение, которое выделяет этот самолет из всех других, то приближалось, то становилось глуше и снова раздавалось над самой головой. Лучи-искатели вновь показались в небе, но по звуку моторов можно было понять, что «Юнкерс» все время держится в стороне и умело уклоняется от опасной встречи. И лучи-искатели не казались такими неотступными, как в другие ночи, когда они упорно и настойчиво следовали по всему небу за ускользающей целью.

Возле корпуса заводоуправления Снесарев различил в темноте сторожа и подбежал к нему:

— Ну как? Давно он?

— Да не по нашу душу, — спокойно ответил из глубины тулупа сторож. — Это «стекольщик».

— Что за «стекольщик»?

— А немцы выпускают на ночь по одному самолету, чтобы бить фугасом оставшиеся стекла... и людей со сна поднимать. Чтобы нам еще тяжелей было, чтобы выморозить людей. Уж где-нибудь, верно, бросит фугас, бандит, ворюга. Вот уж месяц, как такая у них подлая привычка.

Однако взрыва не было. «Юнкерс» покружил еще и ушел. И все затихло. Он прилетал и на следующую ночь и опять не сбросил бомб.

Но через два дня, когда опять послышалось прерывистое зловещее гудение, возле заводского канала, там, где строили корабль, в воздух взлетели четыре красные ракеты. Тотчас оттуда донесся протяжный звон, словно били в набат. Снесарев сломя голову побежал туда. Тревога подгоняла его. Ракеты взлетели либо с площадки, где строили корабль, либо рядом. Снесарев ничего не мог разглядеть в темноте. Он остановился, обессиленный бегом, и услышал, что шум моторов утихает.

Как из-под земли вырос Пахомыч.

— Что это? Откуда взялось?..

— Постой... Слышишь?

Хлопнул револьверный выстрел. Раздался отчаянный вопль.

— Что это там?

Вдоль пустых товарных вагонов, стоявших на путях у берега, во весь дух бежали матросы. Оттуда доносились крики.

— На стенке! На стенке он! Держи!

Крики удалялись, и других слов Снесарев уже не мог различить.

Матросы бежали по пирсу, который выходил острием туда, где канал расширялся. Один из них вырвался вперед, другие едва поспевали за ним. Передний был уже у самого конца пирса, когда между ним и его товарищем промелькнула какая-то тень.

— На льду он! На льду! Э-эй! Стой! Назад!..

Люди стали прыгать с пирса. На льду, рядом со ста-

рым, обледеневшим буксиром, завязалась борьба. Два матроса едва удерживали схваченного ими неизвестного человека. Он отбивался, прокусил одному руку и, опрокинутый на спину, говорил, хрипло задыхаясь:

— Все равно тут подохнете! Всем крышка! Никому не уйти!.. Пропадете... как мухи... Все равно... Пусти! Да ну же!..

Его крепко держали, а он хрипел и хрипел, проклинал и всхлипывал.

Один из матросов поднялся, вытирая рукавом ватника испарину с лица. Сзади из темноты подошли другие:

— Здесь?

— Здесь... Здоровый, дьявол.

Но, когда лучом аккумуляторного фонаря осветил лицо лежавшего на льду, все поразились. Перед ними был седой старик.

— Вставай!

Старик не двигался. Яростная схватка истощила его силы. Он не мог пошевелиться.

— Поднимайте. Ведите под руки, — приказал старший из матросов.

Снесарев увидел группу людей, двигавшихся по направлению к нему со стороны пирса. Он услышал голос Ваулина:

— Кто задержал? Вы, товарищ Беляков?

— И Андросов. Когда этот гад выпустил ракеты, я ударил железом по буферу вагона, а его самого не видел. Но на другом конце ребята услышали. Бросились за ним. Вот его ракетница. При нем еще пяток ракет.

— А кто стрелял?

Последовало короткое молчание.

— Разве стреляли?

— Один раз. Кто же это?

— Мы не стреляли. Должно быть, он стрелял. На льду у него и револьвер взяли.

— Нет, не на льду он стрелял. Обыщите внимательно путь, по которому он бежал. Можно светить, только чуть-чуть.

Под вагонами нашли труп Лабзина. Он был убит выстрелом в спину.

3. Перед уходом корабля

Пришло время, когда Снесарев мог уверенно сказать себе, что работа идет к концу.

Возле дальнего цеха у канала было спокойнее, чем прежде. Зато сильно доставалось цеху «А», который стоял метрах в трехстах дальше по каналу. В старые стапели еще в самом начале блокады попало несколько небольших фугасов. Взрывной волной был выкинут на берег маленький буксир, стоявший у стенки. В следующий налет буксир разнесло в щепы и рухнули последние перекрытия здания цеха. Теперь в эти развалины каждый день залетало по нескольку снарядов. Осадные орудия били туда так настойчиво, будто здесь по-прежнему была важная цель. Издали нередко можно было видеть, как над развалинами поднималась черная пелена и в разные стороны летели обломки кирпича и куски железа. Теперь все уже знали, что опасность заключена в радиусе ста—полутораста метров, что это граница жизни и смерти. И каждый научился на глаз определять эту границу.

Иногда замечалось, что в начале обстрела снаряды ложились то вправо, то влево от разрушенного цеха «А», а спустя минуту опять били по развалинам, словно магнит притягивал их туда.

— Что им там надо? — пожимал плечами Снесарев.

— Ну ладно, — шумно вздыхал Пахомыч, — пусть бьет туда. Лишь бы сюда не стрелял. Довольно уж нашей крови пролилось и лишних сил ушло!

Когда кончили стыковать корпус корабля, Пахомыч засел на нем со своей бригадой. Впервые за все то время, что стоит завод, монтажная работа шла на берегу. Корабль предполагалось спустить готовым, оснащенным до последней мелочи — так, чтобы он сразу мог уйти в плавание. А раньше спускали только корпус и работу доводили до конца на плаву.

В начале апреля готовый корабль со всем вооружением, с двумя пушками, с пулеметами, свежеокрашенный под цвет балтийской волны, стоял под крышей цеха. Сквозь дыры, пробитые в крыше снарядами, лениво падал мелкий редкий запоздавший снег, который быстро таял на земле.

В этот день разговаривали скупо, как бы нехотя, а только ходили вокруг корабля и молча посматривали на

свою работу. Снесарев понимал, что каждый глубоко взволнован и чувства эти не выразишь обыкновенными словами. О многом можно было сказать. О самых тяжелых месяцах зимы, когда столько бед свалилось на осажденный город... О дороге к цеху, которая стала полем боя; о голоде, о стуже, которая намертво сводила посиневшие пальцы; о том, как руки примерзали к инструментам... О коротком сне, когда глухой толчок сердца, почувствовавшего опасность, вдруг поднимает человека; о снарядах, рвавшихся по сторонам площадки.

Нет, они сейчас не думали ни о чем, не вспоминали. Снесарев близко, гораздо ближе, чем раньше, знал этих людей. Готовая работа — работа, сделанная несмотря ни на что, — стояла перед ними. Каждая мелочь была в этом новом небольшом корабле дорога для них. В глубине души они, возможно, и гордились собой. Но скромность равнялась их мастерству, их честности, готовности вынести все ради такой работы. А если им скажут другие, что они совершили подвиг, то все они — ну, взять даже Нефедова, ругателя и скандалиста, трудного человека, столько раз раздражавшего в прошлое время вздорными жалобами, — все они махнут рукой и, пожалуй, сконфузятся, словно такие слова могут вспугнуть их чистое, святое чувство.

Пахомыч покачал головой, улыбнулся, раздвинув бороду:

— Эх, ребята! Ради такого дня по единой бы, а? Неплохо? Да где ее возьмешь, единую? Ладно, запишем это в будущее. Потом потребуете с бригадира... Ты что это, Нефедов? Ах, вот что! Понимаю, брат, понимаю тебя, вполне понимаю...

Нефедов, маленький, сморщенный, донельзя исхудавший в блокадную зиму, примостившись подле борта на шаткой стремянке, макает кисть в баночку с краской и не очень ровно выводит небольшую надпись — «Первенец». Он знает и все знают, что надпись будет закрашена, что корабль получит свой номерной знак, но, пока он еще здесь, пусть стоит с именем, которое так много говорит строителям.

Корабль стоял обращенный носом к каналу, подобранный, с крутыми скосами на корпусе, весь, казалось, отлитый из единого куска стали. Не все его увидели: нет Кривцова, Караулов лежит в госпитале без руки... При-

шло письмо с Урала от семьи Горышина, спрашивают, что́ с ним. И придется ответить, что нет больше Горышина — незаметно для себя нарушил он однажды границу жизни и смерти. Задумался, нарушил, погиб... О, как дорого пришлось заплатить за первенца! Но все же первый корабль готов. Он здесь у воды. Он может дать первый залп. Кажется, всё предусмотрели. Думали над каждой мелочью, но... Пахомыча заботит одна деталь. Надо бы поставить другую задвижку на дверь рубки, а эта ненадежна. Дверь может распахнуться от взрывной волны. Пахомыч это понимает. Дверь у него на примете. Но где возьмешь другую задвижку? Ехать в город, распечатать еще один склад? Долго это.

Пахомыч обходит цех, отвинчивает от двери кладовой здоровенную стальную задвижку, несет ее на новый корабль.

4. Ганька и Наташа

В школе Ганька крепко подружился с одноклассницей Наташей. Однако дружба пришла к ним не сразу и не просто, а после острых стычек. Ганька любил верховодить — житейским опытом он был гораздо старше всех, с кем теперь пришлось ему водиться, — и в первые же дни поспешил укрепить свой авторитет. Он презирал слабых.

— Смотри! — На уроке в бомбоубежище он легонько подтолкнул Наташу и показал на школьника, который, подперев рукой подбородок, посапывал.

— Ну и что?

— Спит.

Ганька пожевал бумажку, положил влажный катышек на ноготь, прицелился, но услышал строгое Наташино:

— Не смей!

Ганька все-таки ловко метнул катышек, и комочек прилип ко лбу спящего. Тот не проснулся.

— Совсем дистрофик! — пробормотал Ганька. — С таким не поиграешь.

Однако ему стало не по себе.

Наташа дернула подбородком в знак того, что осуждает Ганьку.

На другой день Ганька притащил с завода тяжелую головку неразорвавшегося снаряда. Этим он хотел показать, что живет в такой же опасной обстановке, как фронтовики.

Но Наташа сказала:

— Не хвастай!

— Я не хвастаю. — Ганька был несколько сконфужен. — У нас таких сколько угодно. Как на переднем крае. Прямо засыпают нас.

— Нет, хвастаешь! Задаешься. Не хочу и слушать тебя!

— Как? Ты что?!

Казалось бы, совсем просто дернуть Наташу за косу и тем надолго дать ей понять, что так с ним не разговаривают. Подумать — его, Ганьку, который, как равный, работал в бригаде со стариками, девчонка учит! Но Ганька руку не поднял. А Наташа ответила на его дерзкую мысль решительным, строгим взглядом, готовая, если надо, постоять за себя.

— Другие, Ганька, может быть, больше твоего видели, да не хвастают.

— Кто это другие? — насмешливо протянул Ганька.— Не ты ли?

Наташа не ответила. А Ганька почувствовал себя пристыженным.

Да, Наташа много видела и испытала, но не любила говорить об этом. А если ребята просили ее рассказать о партизанах, Наташа одергивала черное платьице, перешитое служительницей из спецовки, которую прежде выдавали уборщицам, расхаживала взад-вперед в больших, не по ноге, туфлях, принесенных из дому Марией Федоровной, хмурила брови, закусывала кончик косы и отрывисто говорила:

— Меня закидали сеном, чтобы я не замерзла. Мороз был сильный. А рядом со мной положили мешки с сушеным картофелем... Его колхозники сушили для Ленинграда. Это их подарок из немецкого тыла... И я слышала, как картофель звенел. Потому что он твердый, как стекло... Мы ехали лесом долго, часто останавливались.

— Наташа, а ты заметила, как обоз переехал линию фронта?

— Нет, не заметила.

— Наташа, ты боялась?

— Боялась.

Так и не дождались от нее захватывающих «боевых» рассказов. Наташа оставалась молчаливой и суровой. И часто Ганьке доставалось от нее. Она обрывала его каждый раз, когда он начинал хвастать.

Умением мастерить Ганька заметно выделялся в школе. И очень хотелось ему, чтобы именно Наташа признала это. А она будто и не замечала Ганькиной сноровки, потому что никогда Ганька не мог удержаться от того, чтобы чем-нибудь не похвалиться. Так случилось и в тот день, когда в школе раздался электрический звонок. Это было большое событие, которого ребята давно ожидали с нетерпением. Школьный звонок молчал уже много месяцев. Сообща сложили песенку, чтобы достойно встретить его:

Ты, звонок-молоток,
Молоточек-молоток,
Снова голос подаешь,
На уроки нас зовешь.
А потом всю нашу смену
Позовешь на перемену...

Последние две строчки повторяли, как припев.

До этого дня перемена наступала тихо. Учитель смотрел на часы, если они у него были, или кто-нибудь снаружи приотворял дверь.

В назначенный день электрический свет в школу подали, а звонок не зазвонил. Преподаватель физики, не старый, но очень состарившийся человек, слабый, с неверными движениями, осторожно взобрался на стремянку, подвинтил чашечку, потрогал молоточек. Но звонок все-таки молчал.

— Странно... — пробормотал преподаватель физики. — Почему это?

Нужно же было так случиться, чтобы именно в тот день он начал проходить со старшим классом электричество!

— Позвольте, я, — попросил Ганька.

Он мигом поднялся на стремянку, посветил сам себе свечкой, поданной снизу, подкрутил, подвертел, загнул еще пару завитков и высокомерно скомандовал:

— Нажмите там...

И звонок зазвонил.

— Вот как у нас! — хвастливо сказал он, быстро и ловко слезая со стремянки.

И преподаватель физики сконфузился.

На этот раз Наташа не ругала Ганьку, но, когда он подошел к ней на другой перемене, она отвернулась и сухо сказала:

— Не хочу с тобой говорить!

Однажды ранней весной Ганька, побывав в заброшенном саду возле завода, принес вербные прутики с пушистыми почками. Он поставил их в бутылку в комнате Марии Федоровны. В ней жила и Наташа. Мария Федоровна поблагодарила Ганьку, а Наташа, насупившись, спросила:

— Где ты раздобыл?

Спустя несколько дней почки стали еще пушистее. Наступали теплые дни. Иногда в часы затишья Мария Федоровна выводила свой класс в сад возле Адмиралтейства. Для всего класса хватало двух садовых скамеек, а на третьей Ганька раскладывал картины к урокам истории и подавал ту, которая нужна была Марии Федоровне.

— Что, собственно, здесь у вас? — весело спросил моряк, проходивший мимо.

— У нас здесь школа, товарищ капитан третьего ранга! — быстро ответил Ганька, встав перед командиром и щелкнув каблуками.

— Школа? — Моряк был очень удивлен и с уважением посмотрел на Ганьку — точно разбирается мальчишка в знаках различия.

— Простите, у нас урок истории, — мягко сказала Мария Федоровна.

— Я помешал? Извините, пожалуйста.

Но, уходя, моряк обернулся и посмотрел, словно хотел навсегда запомнить, какая же она — блокадная школа.

В перемену ребята бегали по дорожкам, вовсю вдыхали в себя тепло, весну, едва различимый запах соков, которые бурлят в проснувшихся деревьях и вот-вот вытолкнут навстречу солнцу крохотные липкие листочки.

— Какие у тебя глубокие царапины, Ганька. Отчего это? — вдруг спросила Наташа.

— Было раз на заводе... — неопределенно ответил Ганька. — Я и забыл об этом.

В этот день было положено начало дружбе. А день выдался особенно тревожный. Вскоре пришлось уйти из сада. Начался сильный обстрел кварталов, прилегающих к Адмиралтейству. Школьники, жившие поблизости от площади, переждав артиллерийский налет, разбрелись по домам. А Ганьку Мария Федоровна оставила в школе. Он, накрывшись старым ватником, прикорнул в кресле. Проснулся он поздним вечером. В комнате и во всей школе было тихо, только вдали разрывались снаряды. Но не они разбудили Ганьку. Наташа плакала, почти беззвучно, мучительно.

Ганька оробел. Б комнату сквозь неширокое стекло, вставленное в лист фанеры, заменившей раму, скупо падал расплывчатый свет нетемнеющей северной весенней ночи, в котором все кажется зыбким, не таким, как днем.

Наташа судорожно вздрагивала, уткнувшись лицом в диванную подушку. Все, о чем она не любила рассказывать, что прятала глубоко в себе, — все вдруг ожило перед нею.

...Папа возвращается и говорит: «Они перерезали дорогу. Нам не выбраться». Два-три дня на улице совершенно пусто. Никто ни к кому не ходит. Потом начинают ходить, но озираясь, и говорят только шепотом. На столбе наклеены какие-то бумаги. И люди читают их в глубоком молчании. Школа закрыта. И магазины закрыты. Потом (это было уже глубокой осенью) бабушка говорит шепотом: «Я видела его». Это о человеке, которого она встретила на улице. «Он посмотрел на меня и ничего не сказал. Недобро посмотрел». — «Откуда же он появился?» — спрашивает отец. «Никто не знает. Тебе, может быть, лучше уйти, Николай?» — «Куда уйти?» — «Он так посмотрел, что я поняла — не забыл».

А потом этот человек пришел к ним, но не один. С ним еще трое. У них повязки на рукавах. Человек этот тихо спрашивает отца: «Вот и встретились? Не думал? Я и сам не думал, что дождусь. Не забыл меня, передовой шкраб?» И трое с повязками на рукавах курят и шумно смеются: «Что за слово чудно́е?» А человек этот объясняет им: «Так назывались учителя, когда вас зачисляли в кулаки. Школьные работники — шкрабы. — Он вынимает сложенную газету, раскладывает ее на столе, показывает заметку, обведенную чертой: — Вот берег твое сочинение обо мне, как паспорт берегут. — Потом он тихо



— У нас здесь школа, товарищ капитан третьего ранга! — быстро ответил Ганька, встав перед командиром и щелкнув каблуками.

спрашивает:—У тебя же, кроме девчонки, еще парень должен быть, большой, а? Не дожил? Ну, ему от этого не хуже».

И слышит Наташа отчаянный вопль бабушки: «Да что вы делаете! За что?» Потом слышно падение тела, топот, злобные крики.

И здесь провал в памяти. Наташу вталкивают в чужой дом. Она так и не узнала, кто же втолкнул. Ее прячут на сеновале, потом ночью через лес ведут в другую деревню. Она не видит лица того, кто ведет ее. «Где мама? Где папа?» — спрашивает Наташа. О бабушке она не спросила. Она поняла, что бабушки больше нет. «Молчи, девочка. Нельзя здесь говорить», — чуть слышно отвечает незнакомый человек. Почти нечего вспоминать о долгой поздней осени. Деревня стояла тихая, нигде не зажигали огня по вечерам. Зимой Наташе приносят большие старые валенки. В них кладут сено, чтобы не были слишком велики ей. Незнакомая девушка отводит ее далеко в лес. Девушка несет глиняную кринку. «Зачем тебе она?» — спрашивает Наташа. «Там узнаешь», — весело отвечает девушка. В лесу удивительно тихо. И совершенно бесшумно из-за мохнатой ели появляется человек с винтовкой. Девушка вынимает из кринки железку. «Идите», — говорит часовой.

Так Наташа попала к партизанам. Спустя неделю собрали обоз, которому предстояло пересечь линию фронта. С ним в Ленинград отправили Наташу. Ее положили под сено. Но она и под сеном озябла. «Зачем тут стекло?» — думала она, когда сани взбирались с ухаба на ухаб. Потом она узнала, что это позванивал в мешках сушеный картофель.

Она не бывала до того в большом городе. Большой город представлялся ей совсем не таким. Она шла с провожатым по улицам, обросшим огромными сугробами, за которыми не видно было людей. Трамваи не ходили. Медленно прошел грузовик, в котором лежали мертвецы. Широкая улица у входа на площадь была покрыта льдом, и лед казался лазоревым. «Здесь разве каток?» — спросила притихшая от всего виденного Наташа. «Нет, девочка, в гостинице трубы лопнули», — ответил провожатый. Он сдал ее учительнице в доме на площади, где стояли два каменных льва. «Из семьи сельских педагогов, — сказал он. — Вот все справки. А вещей у нее

нет». — «Я знаю, нам сообщили», — ответила учительница, которую звали Марией Федоровной.

И вот теперь все, что осталось позади, вдруг ожило. Наташа вспомнила мать, бабушку, отца. Перед матерью стопка тетрадей, она открывает одну: «Наташа, видишь, сколько ошибок у Ляли Игнатьевой?» — «Ну, Лялька, ладно, не хотела нас слушать. Погоди же», — думает Наташа. «Мы поможем ей, мама», — говорит она. И сейчас, вспомнив маму, Наташа вдруг по-особому почувствовала, что она одна, совсем одна на свете. Добрые люди заботятся о ней как могут, но это все-таки не мама, не отец, не бабушка. Наташа все плакала, дрожала и не могла остановить слез.

Ганька подождал немного, встал с кресла, подошел к Наташе, накрыл ее ватником, положил руку на вздрагивающее костлявое плечо:

— Ну, не надо, не надо... Зачем ты, Наташа? Не надо так... Не плачь...

Больше он ничего не мог сказать. Он пододвинул кресло, подождал, пока Наташа уснула, а потом и сам уснул.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

1. Пробное плавание

Ледоход начался с опозданием. Задули теплые ветры, но не сразу им удалось сломать льды, особенно тяжелые и неподатливые после долгой, небывало суровой зимы, — зимы, которая позволила рано проложить дорогу через Ладогу и тем спасти много людей.

В эти дни не умолкал гул артиллерийской стрельбы. Впервые за все те годы, что стоит город, не различить было весенних звуков на Неве. Никто, перегнувшись над перилами, не смотрел с мостов, как, шурша и разламываясь, льдины несутся к устью. Для того чтобы услышать в осажденном городе эти весенние звуки, надо было проснуться ночью и выждать тихую минуту.

Набух лед на канале, опоясавшем завод, обозначились черные, расходившиеся швы проталин. К утру лед сдвинулся, и Ганька, появившийся в этот день в цехе и

помогавший прибирать инструменты, выглянул наружу и, подпрыгнув, закричал:

— Птицы! Смотри, птицы!

Белые большие птицы плавно кружились над обнажившейся водой, стремительно опускались вниз, взмывали, пронзительно перекликались. Птицы... Только они и напоминали о мирном времени. И хотелось долго, как можно дольше следить за плавным, красивым полетом.

Пахомыч задумчиво посмотрел на птиц.

— Да, брат, чайки. Рыбу ищут. Вот и мы с тобой пойдем как-нибудь рыбу удить. — Помедлив, он добавил: — А ворон, брат, не осталось ни одной. И воробья не найдешь...

Двигатели испытывали на берегу. На корме, приподнятой вверх, вращался винт. Стальная коробка ровно подрагивала. Мотор работал ритмично. Снесарев сидел за приборами, записывал показания.

Спустя несколько дней испытания перенесли на воду. Это выпало на воскресенье. Корабль стоял у стенки. Канал уже был чист ото льда. Человек десять собрались на палубе: Снесарев, офицер — представитель флота, группа мастеров.

В этот день Ганька привел на завод Наташу. Сначала он отправился домой, на квартиру, где жил с Пахомычем до тех пор, пока оба не перешли на казарменное положение. Там он сменил ватник на осеннее пальто. Забытое, оно валялось в углу на стуле.

— Какой ты неряха! — с неудовольствием сказала Наташа. — Ну, разве можно так обращаться с вещами? — Пальто было измято и запылено. — Утюг есть?

— Ну, есть... Даже два утюга есть.

— Покажи.

На кухне стояли на полках оставленные соседями, спешно собравшимися в дорогу, кастрюли, промерзшие и недавно оттаявшие, какие-то сиротливые на вид, чайник, сито, ковш. Был и утюг и примус, но не нашлось ни капли керосина.

— А нет ли доски какой-нибудь?

— Можно поискать, — нерешительно согласился Ганька. — Где-то была.

Наташа заглянула за плиту и махнула рукой. Сна-

чала надо было основательно вычистить плиту, а потом только взяться за утюги. Ганька торопил — времени оставалось мало.

— Дай хоть щетку.

Наташа открыла окно, положила пальто на подоконник — так делали бабушка и мама — и, озабоченно сдвинув брови, начала чистить. Пустынно было во дворе, не играли дети в круглом палисаднике. Во всем новом доме, выстроенном незадолго до войны, в эти минуты были Наташа и Ганька, да несколько больных, еще не оправившихся от дистрофии жильцов, которые ждали теплых дней, чтобы добраться до палисадника, где скоро зазеленеют деревья.

Ганька хотел явиться на завод принаряженным. Он знал, что до войны, в день спуска корабля на воду, многие приходили к стапелю одетыми лучше, чем обычно.

Ганька обязательно хотел повязать галстук Пахомыча, найденный в шкафу. Наташа была в затруднении. Как приладить галстук к куртке с глухим стоячим воротником? Она подумала-подумала и нашлась. Глухой воротник был отогнут наподобие отложного, и под ним был пропущен галстук темного цвета — такие носят солидные люди.

Они отправились на завод.

Собралась бригада Пахомыча, пришел кузнец Погосов и его жена, она же — подручный на первом размороженном молоте, она же — неосвобожденный секретарь партийной организации, такой теперь маленькой! Пришли сторожа, свободные от службы. Пришла Надя, снова похудевшая, но уже не так сильно, как зимой. Нос у нее, однако, опять несколько вытянулся... Пришла Агния Семеновна, пожилая медицинская сестра, которая спасла столько жизней в заводском стационаре. А старый доктор, которого приводили к усыпленному Снесареву, не пришел. Покорно, без жалоб окончил он свои дни в этом самом стационаре. За минуту до смерти он отложил в сторону газету и так и не снял с распухшего носа пенсне чеховского образца.

Мало, мало было провожающих, совсем не то, что в недавние годы. Но на дворе стояла весна, и «Первенец», новый корабль, уходящий в недолгое пробное плавание, покачивался на весенней волне у пирса. И люди знали-

что самое горькое позади, что они выстояли, и это вливало в них, тяжело утомленных небывалой зимой, новую силу.

Но почему, взглянув друг на друга, так грустно улыбнулись Погосова и Агния Семеновна? Они подумали об одном и том же и, поняв это, обнялись и неудержимо заплакали.

До войны, когда спускали корабли (спускали по-новому — кормой вперед), — два парня, встав на носу, размахивали крепкими, словно сигнальными флажками, руками и кричали так, чтобы перекрыть шум. И до берега долетали отдельные слова: «Привет!», «Слава-а!», «Строителя-ам!»

Митя и Костя... Сыновья Погосовых, удивительно похожие друг на друга погодки. Оба в мать — рослые, ширококостные. «В себя целиком и полностью выпечатала мамаша», — говорили на заводе.

Неразлучны были Митя и Костя. Младший подхватывал то, что начинал старший. Стал Митя лыжником, и Костя с ним. Начал Митя засаживать палисадник во дворе, Костя привел ребят на помощь.

В одной могиле спят далеко от Ленинграда неразлучные Митя и Костя. В восточной Карелии на опушке возле узкого прохода, который по-военному называется межозерным дефиле и памятен тяжелыми потерями, легли братья, храбрые лыжники, воины недолгой и жестокой войны с белофиннами...

И все поняли на пирсе, почему заплакали, крепко обнявшись, две женщины. Хмурился кузнец Погосов, незаметно смахивая рукавом неподатливую мужскую слезу. Было слышно, как плещет в воде и тихонько позванивает якорная цепь. Надя подошла к плачущим женщинам, стала гладить Погосову по плечу.

— Ну, хватит! — Погосова отпустила от себя Агнию Семеновну и поцеловала ее и Надю.

В эту минуту подоспели Ганька с Наташей. Ганька и не сомневался в том, что его возьмут в пробное плавание. Ведь есть в этой работе его доля. Кто, учась на ходу, выполнял разные мелкие поделки? Кто прибирал инструменты? Кто лучше всех умел определять, куда летит снаряд?

И Ганька в своем новом пальто, из-под которого виднелся галстук, простился с Наташей за руку и уверенно направился к кораблю. Но Пахомыч, стоявший у широкой доски, заменявшей сходни, встретил племянника преувеличенно сурово:

— Ты куда это собрался?

— С вами... — Ганька опешил. — В пробное плавание.

— То есть как это с нами? — возмутился Пахомыч.— Тебя кто звал? Скажи, пожалуйста, монтажник нашелся. Красив! Ты бы еще шляпу напялил! Топать и топать тебе еще надо, пока человеком станешь. Набрался нахальства, как Петровичем стали звать! Вот Нефедов один весь корпус покрасил. А знаешь, как хорошая покраска ходу прибавляет? Моряки говорят, что целый узел прибавляет. Большую работу Нефедов сделал, а вперед не лезет. Поворачивай!

Все это Пахомыч говорил для того, чтобы оправдать свою излишнюю суровость.

— Дядя! — Ганька взревел. — Ну, дядя!

— Поворачивай! Тебе сказано!

Ганька умоляюще поглядел на Погосову, она покачала головой. Наташа, сжав губы, глядела на Пахомыча. Ей обидно было за Ганьку. Она простила ему в эту минуту даже хвастливость. Что бы раньше там ни было, а несправедливо поступали с Ганькой. Ведь он же помогал строить боевой корабль... Ведь такие царапины у него на лице...

Наташа потянула Ганьку за рукав, чтобы напомнить, что надо мужественно перенести незаслуженную обиду. А он готов был заплакать навзрыд.

И Ганька остался на берегу.

Когда корабль отвалил, Пахомыч сказал Снесареву:

— Ты не удивляйся. Мне сестра его поручила, когда умирала. Мальчишке-то жить и жить... Но нахал! Ну и нахал! Прет — будто первый человек! И барышню привел, чтобы полюбовалась. Разоделся. Мой галстук нацепил ради такого дня.

— А свою бороду вы все же подстригли ради такого дня? — поддразнил старика Снесарев.

— Да, поаккуратнее ее сделал, а то в уши полезла. Это — дело другое... Ну, похожу, посмотрю. Еще не решил, надо ли мне бороду оставить. Может, и вовсе све-

ду. До войны я без бороды ходил, помнишь?.. Ну что же, одним словом, вышли в пробное.

Жестоко был ограничен район пробного плавания. Каждую минуту корабль могли накрыть невидимые вражеские орудия. С взморья слева по борту открывался Морской канал. К нему нельзя было приближаться — весь он свободно простреливался. Давно уже не было на узкой гряде в конце канала приветливых мачт с разноцветными деревянными шарами — знаков, у которых прибывший издалека пароход вызывал лоцмана. Лоцманы, старые и молодые, надели шинели военных моряков. Они вернутся сюда, когда вновь будет поднят в торговом порту флаг навигации, снова отстроят дома на каменистой гряде и опять обзаведутся крепенькими яликами, в которых по протяжному зову пароходного гудка, покачиваясь на зыби, подгребали к штормтрапу. Все это вернется сюда. А пока что на гряде, отгораживавшей канал от Маркизовой Лужи, на голом месте, где не оставалось ни деревца, ни кустика, ни травинки, жили артиллеристы-наблюдатели. Опасной была их служба. Часто им после обстрелов приходилось чинить, а то и складывать заново свои каменные доты.

Теперь наблюдатели с интересом следили, как вправо от них мористее и мористее заходит в Маркизову Лужу маленький корабль. Мористее?.. Куда там... Условно только можно было вспомнить сейчас о своеобразном словце, которое на суше не очень чувствуют. Новому кораблю идти бы в пробное плавание до Таллина, а тут, как ни направляй его «мористее», из Маркизовой Лужи не выйдешь. Позади остались корабли, прижатые к берегу, — им некуда было уйти. С палубы одного из них матрос напутственно помахал кораблю рукой. Остался позади Васильевский остров. Блеснул на солнце пробитый снарядом золотой купол собора.

На взморье начали попадаться плывущие льдины. На левом берегу чернел голый редкий лес. Над вершинами стлался дым. Должно быть, тянулся поезд по приморской железной дороге. Лес пропал из виду, показались маленькие дома с крышами, покрытыми снегом. Извилистый берег был пуст.

Снесарев оглядел берег в бинокль и вдруг вспомнил, что там, недалеко от деревянных домов, прошлым летом лежал он с Мишей на песке, и они говорили о корабле

нового типа — малом, крылатом, маневренном, бронированном, вооруженном реактивными снарядами... Летняя волна смыла набросок — первый эскиз корабля, нанесенный спичечным коробком на песок. Миша посмеялся. А потом он вместе со Снесаревым сидел над проектными чертежами. Он спасал их, вынося из горящего здания. Он поверил в эту работу, он жил ею, как жил Снесарев. И вот корабль-первенец идет вдоль извилистого дачного берега, а Миши нет, и никто, вероятно, не живет в деревянных домах.

Да, этот корабль был далеко не таким, каким видели его в первых своих мечтах Снесарев и Стриж в тот сияющий день... И крыльев подводных не было, и еще многого не было. Ну что ж, «Первенец»... И такой скромный кораблик будет грозной неожиданностью для врага.

Был на исходе первый час испытания. Корабль попеременно то замедлял, то убыстрял ход: совершал простые и сложные повороты. Он был вполне послушен управлению.

Пахомыч появлялся всюду. Он ходил с носа на корму, спускался вниз, пробирался в узких проходах, опять ползал на коленях, на животе, прикладывал ухо к палубе, к стенке машинного отделения. Он выслушивал свой корабль. Он слышал то, что не различит другой человек, — особый звук, который в корпусе рождает биение мотора, сопротивление воды. Ровный ли это звук? Нет ли перебоев? Ничего еще нельзя было понять по лицу Пахомыча. Напряженно ловя особый, почти неуловимый звук, он незаметно для себя высовывал кончик языка.

Снесарев следил за показаниями приборов, записывал. Потом он встал, несколько раз прошелся из конца в конец, побывал в рубке командира. Ходил он медленно, опустив голову, и, казалось, также к чему-то прислушивался.

— Знаю, что нащупываешь! — окликнул его Пахомыч. — Нет его еще.

— Не на нуле же идем.

— Близко к нулю. Потом появится. Думаю, что на корму будет он...

— Думаете?

— Ну, чую.

— Дифферент ловите? — спросил офицер, подошед-

ший на этот разговор, несколько загадочный для непосвященных.

Где определится преобладание осадки — на носу или на корме? Из всех кораблей только у подводной лодки может быть нулевой дифферент, когда она движется под поверхностью. А все другие корабли — от речного катера до океанской громадины — живут с этой разностью в осадке. И самым благоприятным считается дифферент в два градуса на корму. Вот на такой дифферент и надеялся Пахомыч. Однако показания приборов были еще неясны.

— Мина! — раздался тревожный возглас.

Офицер поспешил к баковому орудию, успокоительно бросив на ходу:

— Ничего, мы их тут часто видим. Немцы не жалеют мин для нас.

Двурогая круглая черная мина — большой круглый шар, в котором заключена гибель, — лениво покачивалась на волне. На вид медлительное, апатичное, никому не угрожающее морское животное, всплывшее из глубин. Казалось, мина как всплыла, так и осталась на месте, не двигалась. А прошла она, сорвавшаяся с троса, десятки миль и, не столкнувшись ни с одной льдиной, приближалась, оставив позади Кронштадт, к Ленинграду.

Залив к западу от Кронштадта был перегорожен плотнейшими минными полями. Неодолимым казался барьер, составленный гитлеровцами из десятков тысяч мин.

— Старуха плывет! — Офицер определил на глаз примерный возраст плывущей мины и подал команду.

Раздались два резких выстрела скорострельной пушки. Желтое пламя взметнулось над миной. Эх, если бы на борту был в эту минуту Ганька!

Корабль наращивал скорость. Дул ветер, еще холодный, но холодный по-весеннему, в упругости которого чувствовались теплые струйки. Медленно плыли к западу облака, немного потрепанные по краям. Как мало нужно времени, чтобы они, пройдя над кораблем, пересекли линию блокады! Как близка эта линия отсюда! И кому послужит окно, открывшееся в облаке, — нашему или вражескому истребителю?

— Не взять ли нам круче к берегу? — донесся с мостика голос офицера.

— А что?

— Да что-то неладное начинается...

Метрах в полуторастах от корабля разорвался снаряд, подняв смерч изо льда и воды. Никто не был испуган, но все озадаченно посмотрели друг на друга.

— Неужели нас заметили? Или это случайность?

— Надо идти к берегу. И там переждать. Не думаю, чтобы нас заметили.

Но подойти вплотную к берегу не удалось — туда ветром нанесло льда.

Корабль стал огибать ледяное поле. Теперь берег был отчетливо виден и без бинокля. Эта зона была безопасной. Но, когда поворачивали назад, пришлось пустить в ход багры, которые не забыл взять Пахомыч. Так, отжимая льдины, которые пытались замкнуться в кольцо, они выбрались на чистую воду и пошли к заводу.

Когда высаживались на пирс, офицер козырнул, а затем улыбнулся и развел руками:

— Позвольте вручить вам подарок от флота. Подарок, что и говорить, бедный. Однако думаю, что не лишний. Сейчас ничем больше не можем отблагодарить вас, товарищи.

Он вручил Снесареву пропуск на всех в душевую эсминца, стоявшего недалеко от завода.

— Ну, и чаем напоим, само собой, если пожелаете. Чай у нас настоящий.

— Пожелаем, конечно. А веничком балтийцы обеспечат? — учтиво осведомился Пахомыч.

— Только мочалкой.

Они простились.

— Чую, штучка твоя будет злая для фашистов, — говорил Пахомыч Снесареву. — Неприятная для него штучка! Хоть и совестно хвастать, а чую, но...

— И я думаю об этом самом «но». Одна у нас дума, Сергей Пахомыч!

— Ты о трясучке?

— Да, о вибрации. Видно, с этим родился наш первенец.

— Н-да, должно быть, скажется на нем еще трясучка. Но ведь как строили, как строили-то! Прощенья не просим, а понять нас надо...

И они отправились в душевую на эсминец,

2. После казарменного положения

Душ на эсминце оказался великолепный, сильного напора, горячий. Давно уже не удавалось так хорошо помыться. Пахомыч мылся всласть, очень долго. За перегородкой слышалось его довольное покряхтывание, сопение, мурлыканье. Он мылся и приговаривал:

— Ай, до чего же отлично! Красота, братцы! Первый сорт! Спасибо морячкам!

— Ну, хватит, — посоветовал Снесарев.

— Хватит, говоришь? — Пахомыч вышел, отжимая одной рукой бороду, другой мочалку, озорно поблескивая глазами, поеживаясь, отдуваясь.

Он напоминал Снесареву лешего со старой лубочной картинки к народным сказкам.

— Хватит, говоришь? Да это, брат, такое наслаждение, как... — Пахомыч не подыскал подходящего сравнения и окончил несколько неожиданно: — ...как от любимой песни. Десять лет с плеч долой, даже кожа дышать начала.

Великолепными были ржаные сухари, поданные к чаю, сухари довоенной выпечки. Они не окаменели, а раскалывались со звоном от легкого удара ножом.

Сойдя на берег, Снесарев и Пахомыч, по привычке кораблестроителей, обернулись, посмотрели на эсминец, поневоле прозимовавший тут и, казалось, настороженно глядевший вдаль, в сторону Балтики, от которой был отрезан минными барьерами.

На Пахомыча нашел философский стих.

— Что нашему человеку надо? — благодушно рассуждал он. — Любимую работу да толковое душевное руководство. Сердечный элемент требуется от руководителя. При этом у человека нашего всегда забота будет: как бы сделать лучше то, что он делает.

— Действительно, яснее ясного.

Пахомыч остановился, поправил торчавший под мышкой узелок с бельем и любовно посмотрел на инженера:

— Знаешь что? Мысли у нас с тобой в основном сходятся. Если бы не это, то, кто знает, может быть, и не довели бы нашу работу до конца.

По случаю окончания работы бригада была отпущена на отдых. Ожил многоквартирный дом возле завода.

До весны, с тех самых дней, как построили кирпичные доты на ближних улицах, все жили на заводе, и это называлось казарменным положением. Теперь его отменили. Осада продолжалась, артиллерийские обстрелы усиливались, доты содержали в порядке, но теперь уже все понимали, хотя и не говорили вслух, что до уличных боев не дойдет, и можно было вернуться домой, в пустую, промороженную и теперь медленно прогревавшуюся квартиру.

Домой...

Это означало тихое-тихое жилье, где не слышны голоса детей, не слышен даже стук капель, падающих из крана в раковину, — вода подается только в подвал. Домой — это забытые игрушки на пыльном диване, фотографии на отсыревших стенах. Это внезапно ожившие жгучие минуты разлуки и мужская растерянность.

После казарменного положения человек как-то неловко бродит по своей комнате. Ему непривычно, потому что рядом нет родных людей, которые вместе с ним налаживали жизнь в комнате, где он теперь один. Домой — это тысячи воспоминаний, которые возникают при взгляде на стул, шкаф, детскую кровать, книжную полку и плотно обступают вернувшегося. От них не уйти...

Домой — это рамы, вывороченные ближним взрывом фугасной бомбы, почерневший сор на промерзшей кухне, и среди этого сора глупая вражеская листовка, сброшенная с самолета и занесенная ветром сюда.

Домой после месяцев казарменного положения — это одинокое мужское жилье.

Снесарев осмотрел две свои комнаты, немного прибрал их, отложив тщательную уборку до другого раза. Он неловко побродил по комнатам, ощущая какую-то скованность в движениях. На кухне он подтянул стеклянную гирю ходиков, и их легкое постукивание стало первым звуком, раздавшимся в квартире. У себя в столе он нашел несколько листков с торопливо нанесенными линиями и цифрами. Листки были довоенные — он только начинал думать о своем корабле. Они уже не нужны. Тома энциклопедии стояли не в прежнем порядке: Ваулин тогда пересмотрел их и извлек все до одной заметки и наброски Снесарева.

Неизвестный... Он стоял вот здесь. Снесарев напряг

память и услышал этот бесстрастный голос. Нет, голос только казался бесстрастным. Скрытая злоба в нем. И злобой искажено лицо, наклонившееся над постелью. И сейчас, как тогда, что-то царапает снаружи о стекло. Снесарев поглядел в окно — оборванный провод все еще свисал с крыши.

3. «Первенец» вступает в строй

Еще несколько раз корабль выходил на испытания. И вот наступил день, когда его можно было сдать флоту. На завод пришла флотская команда. Матросы — кто с заплечным мешком, а кто со свернутой шинелью и с баульчиком — спускались вниз и, оставив вещи там, поднимались на палубу, чтобы внимательнейшим образом осмотреть судно.

Они, конечно, знали, что это был первый боевой корабль, построенный в блокаду. На борту были выведены три большие буквы и номер. Под этим знаком и номером бронированный катер-охотник был занесен в списки действующего флота.

Лицо одного из матросов показалось Снесареву знакомым. Коренастый, крепкий парень с обветренными щеками козырнул ему.

— Кто вы? — спросил Снесарев и сразу же вспомнил. — Товарищ Беляков?

— Он самый.

— Это вы были тогда у меня на квартире? В декабре?

— Прочел ваш сигнал...

Снесарев крепко обнял Белякова. Они расцеловались, испытующе поглядели друг на друга.

— Да ведь вы ловили и ракетчика!

— Пришлось. Наш патруль тогда дежурил на заводе.

— В плавание идете?

— Наконец-то списали с берега. Я ведь старый катерник. Но еще с осени делать на воде стало нечего. Запер он выход. Ну ничего, придет время — откроем. Так вот: проходил я, товарищ Снесарев, всю зиму в пикетах... — Беляков усмехнулся.

— Да, потому мы и познакомились. С вами еще один моряк был...



Они испытующе поглядели друг на друга.

— Как же! Андросов. Он пока на берегу. Так у нас получилось. До войны ходили вместе на одном охотнике, войну встретили вместе, из Таллина выбирались. А теперь врозь.

— Знаете что, товарищ Беляков. Если уж мы с вами знакомы...

— Да уж после всего того, что было, можно сказать — старые знакомые...

— Вот именно. Так на правах старого знакомого, когда будете в городе, загляните ко мне, расскажите о корабле. Нам, конструкторам, это важно!

— Сделаю! Только вряд ли мы скоро будем в городе. А у меня есть к вам вопрос.

— Пожалуйста.

— На борту справа сверху царапины. Закрашены.

— От вас ничто, видно, не укроется.

— Там даже ямочка чувствуется на ощупь. Откуда это? Ведь корабль-то новый.

— Откуда? Свежая ямочка. Вчера ее катер привез. В последний раз испытывали. Ну, а немецкий истребитель из пулемета прошелся.

— Вот как! А все-таки не прошил борта? Вот это замечательно. А то на деревянных нам было трудно. Прошивал насквозь.

— Как-то кораблик в деле будет? Как в маневре?..

— Доложу, доложу, если увидимся.

Беляков твердым ногтем постучал о борт и одобрительно кивнул головой. Корабль ему, видимо, казался вполне надежным. Совсем не то, что прежний с деревянным корпусом.

Невидимое солнце стояло за горизонтом. Алая полоска указывала то место, куда на короткое время ушло оно, северное весеннее солнце. Воздух был прозрачен, и только человек, который долгие годы прожил здесь, мог назвать такие часы ночными.

Маленький бронированный корабль шел за островом Лавенсаари. Море едва рябило. В такой прозрачной ночи далеко виден пенный бурун за кормой. В стороне Ленинграда видны были крошечные острова маленького архипелага, берега с острыми зубчатыми камнями и песчаными отмелями.

Если от оконечностей архипелага провести прямые линии к берегам залива, то окажется, что он лежит в тылу противника. Еще осенью огни боев прошли по суше на восток, но на острова враг не смог прорваться.

Сейскари... Пенисари... Лавенсаари... На детальной оперативной карте все эти острова закроет спичечный коробок, на обыкновенной они еле видны. Стоит только взглянуть на блокадную карту, и даже бывалому человеку они покажутся беззащитными, эти островки архипелага, оказавшиеся в тылу противника.

Если отрезанный от Ленинграда Ораниенбаум, «малая земля» малой блокадной земли, защищен мощными фортами, то островки защищают сами себя. Укреплений на них нет. И все-таки держат, держат балтийцы в своих руках крошечные островки. Оборона безыменного архипелага устояла. Островки, словно копья, нацелены на Гогланд, захваченный врагом.

Архипелаг — последняя точка наших надводных коммуникаций в блокадное время. Дальше — густые минные поля. И сквозь них с первых дней поздней весны пробираются из Кронштадта на Балтику подводные лодки. И бывало, что подводник слышал царапающий звук, доносившийся снаружи. Это борта лодки касался трос, на котором держится мина. Но лодка словно отталкивалась от троса, и вахтенный, чуть дыша от волнения, работал горизонтальными рулями так, чтобы держать лодку на строжайшем нулевом дифференте. Ни корма, ни нос не должны приподняться ни на малую долю метра. Приподняться — значит приблизиться к мине, которую держит царапающий трос.

Сейскари... Пенисари... Лавенсаари... Километр на километр, километр на два, на три в длину — вот и вся суша, на которой держатся гарнизоны. Зимой вблизи островков по ночам кружили вражеские лыжники с автоматами, с минометами на полозьях. Они затевали перестрелку, но открытого боя не принимали. Утром на снегу замечали кровавый след, который тянулся к вражескому берегу, к шхерам. Часто показывались здесь самолеты-разведчики врага. Они не стреляли, а только описывали круг за кругом. И внизу понимали: очередная съемка. Придет день, и откроется, что съемки с воздуха не были напрасными. Когда наступит такой день? Может быть, и завтра.

Не умолкала в районе архипелага артиллерийская стрельба, то отдаленная и глухая, то ближняя, накрывающая цель. Если в ясную погоду показывалось судно, доставляющее гарнизонам продовольствие и боеприпасы, то два буруна можно было увидеть за кормой — один от винта, другой, прерывистый, — от снарядов, которые посылали вслед смельчакам сторожевые корабли противника. В такую погоду только зигзагами командир вел судно.

Лишь радисты крошечных островов поддерживали постоянную связь с Ленинградом. Но несколько раз все же побывали на архипелаге артисты. С большим для себя риском они перебирались с островка на островок и выступали под открытым небом.

Колоратурное сопрано выводило под аккомпанемент аккордеона нежнейший старинный гавот. «Слышишь, милый? Слышишь, милый? Слышишь, милый?» Перед фразой: «Слышишь, ненаглядный...» полагалось выдержать короткую паузу. Но в паузе послышался дальний разрыв. И матрос, сидевший у самой эстрады, сколоченной из ящиков, явственно ответил колоратуре: «Ох, слышим, милая, день и ночь».

В конце мая маленький бронированный корабль ходил в дозоре в районе архипелага.

Беляков стоял с биноклем на корме. Он видел вражеский берег, пологий и однообразный. Немного дальше к западу громоздились куски гранита, и на них, запустив корни в трещины, держались кривые одинокие сосны.

Беляков хорошо знал эти места. Прошлой осенью он уходил отсюда с боем. Вон там, за камнями, узкие ворота в шхеры. Беляков остановил на этой точке окуляры бинокля и невольно вспомнил прошлогоднее. Катера снимали отсюда отряд морской пехоты. Пехотинцы отбивались, пока можно было, а потом, обрывая кожу на руках, стали спускаться по острым камням к морю. И не все добрались. И, когда они уже были на борту катеров, над камнями поднялся дым. Загорелся лоцманский домик.

Вот и сейчас там поднимается дым, но легкий, едва заметный, быстро тающий. И Беляков различает дальний звук. Он смотрит в сторону шхер. Звук усиливается.

— Правый борт! — закричал Беляков. — Курсовой... двадцать пять.

И вдруг берег стал удаляться, корабль начал разворот.

Впереди показалась десантная баржа, неосмотрительно вышедшая из шхер. Куда она держит курс?

По данным нашей разведки было известно, что в финских шхерах немцы собирали и спускали на воду привезенные издалека десантные стальные баржи. Они были предназначены для боев с крохотными островками-бастионами. Нашим летчикам удалось сфотографировать эти суда. И по этим снимкам можно было установить, что вдоль всего борта идут бойницы. Какой же ливень пулеметного огня может обрушить одна такая баржа на крошечный остров с маленьким гарнизоном!

На море такие суда еще не встречались. До времени их тщательно маскировали в шхерах.

И вот одно из них прошло в шхерные ворота. Как ни был Беляков взволнован, все же он успел заметить, что судно тяжело и неуклюже на развороте. Понял он также, что на десантной барже слишком поздно заметили опасность. Но если она хоть немного выиграет во времени, то сможет вернуться в шхеры под защиту береговой батареи.

«Первенец» вздрогнул всем корпусом — раздался залп. Если бы огонь вел прежний деревянный катер-охотник, на котором Беляков начинал службу, цель осталась бы непораженной — слишком маломощной была его артиллерия.

Но теперь случилось иначе. На десантной барже мгновенно поднялось пламя. Оно скрыло половину палубы. Начали рваться ящики со снарядами. Огонь подбирался к кормовому орудию баржи. Повернутое в сторону маленького бронированного корабля, оно выстрелило уже сквозь пламя. Было видно, как по палубе бегают матросы и солдаты.

Оборвалась пулеметная очередь на тонущей барже. От борта медленно отвалила шлюпка. Она почти не двигалась с места. В бинокль Беляков увидел сцену, поразившую его: кого-то свалили на дно лодки и крепко держат. Он еще раз посмотрел в бинокль. Нет, ему не померещилось. Человек, которого прижали ко дну шлюпки, пытается вырваться и не может.

Командир «Первенца» закричал в мегафон:

— Сюда! Гарантирую жизнь! Опустить весла! Поднять руки! Всем поднять руки!

Он повторил приказание на двух языках, сверившись с листком, который вынул из записной книжки.

Десантной баржи уже не было на поверхности моря, когда шлюпка под направленными на нее пулеметами подошла к борту корабля. Беляков подал конец. Пленные молча поднимались на палубу. Двое зорко следили за тем, кто затеял непонятную борьбу в шлюпке. Трое были сильно обожжены.

— Перевязать раненых!—распорядился командир.— Радиста ко мне!

Пленных увели в кубрик. На мостик поднялся радист. Командир набросал несколько слов на листке бумаги. Потом он открыл журнал боевых действий и внес в него первую запись.

— Ну, с началом... — сам себе сказал командир.

Так корабль конструкции Снесарева вступил в войну. Это было поздней весной в светлую, прозрачную северную ночь, спустя восемь месяцев после того, как началась блокада Ленинграда.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

1. Допрос

Перед Ваулиным сидел пленный немецкий офицер — один из тех, кого подобрали с шлюпки. Обе кисти пленного были забинтованы.

— Ваше оружие? — спросил Ваулин, показывая на крошечный, плоский, как пудреница, пистолет.

Пленный кивнул головой.

— Почему вы хотели покончить с собой?

Пленный не ответил.

— Повторите мой вопрос. — Ваулин обратился к пожилому переводчику.

Тот повторил, взглянув на пленного как бы для того, чтобы удостовериться, что эти слова дошли до него. Но ответа все же не было.

— Вы устали?

Пленный молчал.

— Не хотите отвечать?

Подождав, Ваулин распорядился позвать Белякова. И, когда главстаршина вошел, он сказал ему:

— Товарищ Беляков, вспомните, пожалуйста, как все это происходило на море.

— С самого начала?

— С того момента, как вы увидели шлюпку. Поточнее, пожалуйста.

— Я смотрел на нее в бинокль, — рассказывал Беляков. — Мне показалось, что там поднялась какая-то возня. Будто бы накинулись на одного и держат. Баржа горит, а в шлюпке возня. А когда мы близко подошли, я увидел, что и в самом деле вот этого держат. А другие гребут изо всей силы к нам.

— Что же было потом?

— Они поднялись к нам на борт и вот этого подталкивали. Он упирался.

— А что было потом?

— Потом командир приказал мне спуститься в кубрик и смотреть за пленными, пока не вернемся на базу. Трое были перевязаны. Я сидел в кубрике, и вдруг этот срывает с руки повязки и достает пистолет.

— Обожженными руками?

— Та, которой доставал, не так сильно была обожжена. Но боль, вероятно, была. Он достал свой пистолет и даже сумел перевести на боевой взвод, а когда я схватил его за руку, выстрелил.

— И куда попал он?

— В стенку. Пленные хотели броситься на него. Я удержал их.

— Он ничего не сказал?

— Нет, только застонал.

— Скажите, разве его не обыскивали, когда взяли на борт?

— Обыскали, конечно. Но пистолет был в потайном кармане, мы не заметили — очень уж маленький. Конечно, небрежность с нашей стороны. Я его ощупал, вывернул все карманы, кроме этого.

— Какого?

— У самого голенища. С внутренней стороны.

— Вы свободны.

Беляков ушел.

— Так что вы хотели сделать? В кого вы стреляли? Не в этого ли матроса?

Пленный ответил не сразу.

— Ни в кого. Это был случайный выстрел. Он меня схватил за руку, а пальцы мне не повиновались.

— Пальцы вам не повиновались, но все же вы достали пистолет. Зачем? В кого вы хотели стрелять?

— В себя.

— А не рассчитывали вы убить часового, выпрыгнуть на палубу и броситься в воду?

— Нет. Мне не удалось бы доплыть до берега. Я хотел покончить с собой.

— Почему?

— Потому что смерть предпочитаю плену. Есть люди, для которых плен — позор. Вот почему я хотел покончить с собой.

— Только потому?

Пленный посмотрел в сторону и не ответил.

— А как вы думаете, почему финские солдаты удержали вас в шлюпке? Как это понять? Пожалели? Почему они вас не очень любезно подталкивали, когда вы поднимались на борт катера?

— Меня совершенно не интересует, о чем думают эти дикари.

— А меня интересует. Нас всех интересует, что́ думают люди, которых вы назвали дикарями. Нисколько они вас не жалели. Это не сострадание. Просто они не хотели попасть в плен без вас. Я бы сказал, тут есть даже какое-то злорадство. Они ведь не знали, что их ждет в плену. Им прожужжали уши разным враньем насчет всяких ужасов. Они считали, что идут навстречу неизвестности, и не захотели отпустить вас. Почему им одним расплачиваться за войну, которой они не хотели? И они привели с собой в плен вас, представителя гитлеровской Германии — той страны, которая навязала им тяжелую войну. Вот как я объясняю поведение финских солдат. Не любят вас они, не любят! И вы, конечно, знаете об этом.

Пленный пожал плечами:

— Не знаю. Я не говорю и не понимаю по-фински. Мое дело отдавать приказания. Я не обязан думать, есть ли у этих людей симпатия ко мне или сочувствие. Но они обязаны исполнять мои приказания.

— А по-русски вы знаете?

— Несколько обыденных слов.

— С каким заданием вас послали в море?

Пленный молчал.

— Нам известно, что судно шло на остров Гогланд.

— Я сказал, что я капитан германской армии, что я был послан инструктором в финскую часть.

— Это известно по вашим документам. А что вы можете добавить?

— Я не нарушу присягу. Дальнейший разговор излишен. Прикажите увести меня.

— Тогда я добавлю. Вы не капитан германской армии Роберт Польниц, как указано в документах. Вы вовсе не инструктор. Вы Курт Мерике!

Ваулин поднялся за столом. Он впился взглядом в пленного, но ничего не прочел у него на лице.

— У вас есть еще одно имя — Зигмунд Люш.

Пленный зевнул. И тут уже не только Ваулин, но и всякий другой человек, кое-что видевший и испытавший, мог бы понять, что зевок притворный.

— Это игра? — спросил пленный.

— Нет, Мерике-Люш, расплата. Вас снова прибило к осажденному городу. Но вам теперь уйти не удастся... — Ваулин снова в упор посмотрел на Мерике. — Можно отпустить переводчика? Ведь вы свободно говорите по-русски. Нам это давно известно. Мы знаем, когда появился у вас акцент, где вы учились ему.

Глаза пленного ничего не выражали. Но его необыкновенное спокойствие было неестественным. Такое спокойствие может сдать каждую минуту, и Ваулин чувствовал это.

— Помните ночь возле Ладоги, Мерике-Люш? Метель. Береговой припай. Вам посчастливилось. Вы ушли от нас и не заблудились в метели. А теперь счастье вам изменило. Кто бы мог предположить, что вам суждено встретиться в открытом море... с кораблем конструкции инженера Снесарева! Того Снесарева, к которому вы приходили зимой.

— Вы, кажется, развлекаетесь, господин майор? — равнодушно отозвался пленный. — Но я не понимаю ни слова из того, что вы говорите.

— А это вы поймете? Постараюсь освежить ваши воспоминания... — Ваулин открыл папку. — Вот ваши

фотографии. Вы сняты на лесоразработках. Вам не хотелось сниматься. Это скажет всякий, кто внимательно присмотрится к фотографии. Вы прятали лицо, становились боком. Ну, посмотрите на ваши изображения.

Пленный посмотрел на снимки и покачал головой:

— Нужна немалая фантазия, чтобы утверждать, что здесь изображен я.

— Да, снимок не очень удачен, но вот здесь вы гораздо больше похожи на себя... — Ваулин открыл другую папку.

— Можно всякие чудеса делать с фотографиями, всякие фокусы.

— Итак, на фотографии не вы? И кто-то производил фокусы с вашим лицом, с платьем, в которое вы были одеты, с меховой курткой, покрытой чехлом? Сплошные чудеса!.. Пригласите гражданку Донцову, — сказал он, обращаясь к солдату.

Вошла девушка, одетая по-весеннему, так, как одевались до войны, — в синем костюме, в берете, из-под которого были видны волосы в тонкой сетке.

— Здравствуйте, Нонна Павловна, садитесь, пожалуйста... — Ваулин пододвинул стул. Он снова открыл папку. — Вот она стоит рядом с вами на фотографии, Мерике-Люш. Но, если вы скажете, что это не она, я вам в первую минуту поверю. Разве можно узнать в ней инструктора, который показывал вам, как надо работать лучковой пилой! А вы, Нонна Павловна, узнаёте его?

Донцова изучающе глядела на пленного. Она мысленно перенеслась из этой комнаты с решетчатым окном в лагерь лесорубов, в зимние дни. Туда явился человек, говорящий по-русски с небольшим акцентом, пожилой, но сильный на вид, с грубоватыми манерами. «Девушка, — сказал он, — я не думал, что вы будете учить, как надо рубить лес. Но зачем вы меня включили в бригаду стариков? Я еще не так слаб». — «Не упрямьтесь, Раукснис, — сказала она ему, — с молодыми вам будет трудно». Он пришел в меховой куртке с брезентовым чехлом. Всего несколько часов он был на участке и неожиданно исчез. А потом появился Ваулин.

— Да, это он, — говорит Донцова. — Он у нас был в лесу. У меня на участке.

— Мерике-Люш, вы все еще не хотите говорить по-русски?.. Переведите ему, — обратился Ваулин к пере-

водчику, — узнаёт ли он свидетельницу, встречал ли он когда-нибудь ее?.. Не узнаёт, никогда не встречал?.. Нонна Павловна, вслушайтесь в его голос... Так вы все это отрицаете, Мерике-Люш? Давайте кончим игру. Вы и есть тот лесоруб, который исчез после съемки. Может быть, отпустим все-таки переводчика?.. Упрямый вы человек! Ну, пройдите в ту комнату и подумайте. Это очень неумная тактика, Мерике-Люш, тупая тактика! Нельзя долго держаться на ней. Не удержитесь!

Конвоир увел пленного в соседнюю комнату.

— Как дела, Нонна Павловна? Что делаете теперь?

— Лабораторию размораживаю.

— Ну, это лучше, чем лучковой пилой орудовать.

— Нет, послушайте... — Донцова встала. — Он же прямо как привидение...

— ...которое вернулось.

— Совершенно невероятно. Каменное лицо, мундир.

— Ну, на войне бывают вещи поудивительнее.

— Я посмотрела ему в глаза, прямо в глаза. Сколько в них жестокости, бессильного бешенства! Что могут натворить сто людей, которым он приказывает!

— Сто? Дайте ему власть — и десятка помощников довольно. Квартал сожгут, квартал вырежут. Это он и собирался делать в Ленинграде. Ну, спасибо за то, что вы пришли, Нонна Павловна. Гляжу на вас и сравниваю с девушкой в ватнике, в валенках. Вы ли это? Ну, всего вам доброго!

Донцова идет по длинному проспекту. Далеко до ближайшего прохожего — метров двести, не меньше. В этот час не стреляют, и поразительная тишина вокруг. За оградой палисадника памятник. Его не закрыли колпаком, и он как-то задумчиво смотрит сквозь ограду на безлюдный проспект, на заколоченные наглухо витрины. Донцова с наслаждением вдыхает чуть теплый воздух. Но даже ее, двадцатилетнюю, не отпускают тяжкие воспоминания. Они идут вслед за ней. Вот будка телефона-автомата, разбитая, вероятно, совсем недавно осколком снаряда... И близко стоит ее дом — дом, где она вчера разбирала и чистила печурку, возле которой умерла мать.

Сокращается расстояние до ближайшего прохожего. Это высокий командир с тремя кубиками на петлицах.

— Девушка, — говорит он, — позвольте вам препод-

нести. Не подумайте, пожалуйста, ничего такого. Честное слово, без всякой мысли о продолжении знакомства, а просто так. Ведь можно же дарить цветы по-товарищески? Свежие. Час назад сорвал.

— Уже целый час? И до сих пор никому не подарили? Почему же именно мне?

Командир, несколько озадаченный такой репликой, протягивает Донцовой букетик свежих ландышей, сорванных сегодня в пригороде, где стоит его часть. У него широкое, немного наивное, успевшее загореть лицо.

Донцова благодарит, улыбается. У ландышей нежнейший запах, и есть в них почти неуловимое дыхание росы, не покидающее ландыши, пока они не завянут. Донцова выходит на набережную. Набережная кажется бесконечной, и чуть виден там у моста ближайший прохожий. Донцова подносит цветы к лицу, они щекочут щеки. Ей опять становится приятно слышать свои легкие шаги, ощущать свои сильные движения.

А в это время перед Ваулиным снова сидит пленный.

— Мерике-Люш, вы не передумали?.. Нет?.. — И солдату: — Пригласите гражданку Глинскую.

Очень постарела Мария Федоровна с тех пор, как Ваулин видел ее в последний раз. Она устало опустилась на стул, внимательно посмотрела на пленного и тихо сказала, не дожидаясь вопроса:

— Ну что же... Это, конечно, он...

Ваулин пристально глядит на Мерике-Люша. Лицо пленного постепенно меняется: оно становится землисто-серым, на лбу выступил пот, задрожали углы губ.

— Можно отпустить переводчика, — говорит Мерике-Люш по-русски сдавленным голосом. — Только... я очень устал. Нельзя ли перерыв?

— Хорошо. Можете отдохнуть, а потом мы продолжим разговор.

Ваулин развернул план города.

2. Убежище, которое могло стать западнёй

Появление Глинской на допросе напомнило Мерике-Люшу о странном и тяжелом для него поединке, который он проиграл.

Это было на Выборгской стороне, в доме недавней постройки, еще не оштукатуренном, из серого кирпича, с большими, светлыми окнами. Здесь семья Глинских занимала квартиру из двух комнат.

Мерике-Люш самоуверенно вошел в этот дом как хозяин. Он думал, что подкормит эту семью, которой пришлось тяжелей, чем другим, и заставит ее служить ему. В ванной комнате, которая теперь не нужна, он расположит свою рацию. Эта квартира станет для него точкой опоры. Эта женщина, которая нисколько не отличается от других ленинградских женщин, станет его связным. Кто еще здесь есть? Больной, ослабевший от голода муж... Надо поднять его на ноги, пригодится и он.

Так решил Мерике-Люш. Но с первых же слов он понял, что эта женщина не потеряла мужества. Не потерял его и больной, угасавший человек, который, видимо, знал, что ему недолго остается жить.

Он лежал, этот человек, под двумя одеялами, и очень обострились черты его лица. Изнутри дверь комнаты была обита войлоком, окна до половины закрыли ковром. Маленькая аккуратная печурка стояла возле самой постели. Все остальное здесь сохранялось в том строгом порядке, как до войны, — книги, картины, статуэтки. Не было ни пыли, ни признаков запустения. Женщина боролась за остатки уюта и, особенно, за остатки тепла. Это означало — бороться за жизнь мужа.

«Да это полумертвец, — размышлял Мерике-Люш.— Стоит ли его поддерживать? Но вот женщина... Женщина очень привязана к нему. И она будет благодарна за любую поддержку, даже если он умрет. Благодарность обязывает. Надо попытаться. Надо постепенно приручить ее и его».

Но полумертвец, который все не мог согреться, не терял охоты ни к рассуждениям, ни к шуткам, не терял интереса к тому, что происходило в городе, в стране. Он лежал в тюбетейке, на которую жена для тепла натянула свой старый шерстяной чулок, и разговаривал с новым знакомым.

— Как же вы выбрались из Острова, Ян Петрович?

— О, не говорите. Никакого транспорта не было. Я мог рассчитывать только на свои ноги. А что было в дороге! Немецкие самолеты все время над нами... — По-

молчав, Мерике-Люш осторожно осведомился: — Вы там бывали, Андрей Сергеевич?

— Я охотился возле Острова.

Это было совсем некстати. Мерике-Люш поспешил заговорить о другом:

— Они у вас отняли все, как у меня. Им нельзя простить. Никому из них нельзя простить!

Эти фразы давались ему с трудом. Но надо было поскорее увести Глинского от воспоминаний о городе, в котором Мерике-Люш не бывал.

— Никому из них нельзя простить? — повторил Глинский. — Вы убеждены в этом, Ян Петрович?

— Да.

— А я нет. Я бывал в Германии. Правда, давно. И такого убеждения не вынес.

— Но они изменились в последние годы. Я читал газеты.

— Все изменились? Нет, Ян Петрович, в вас говорит горечь, пережитое... тяжелые потери...

«Нет, ты все-таки недочеловек, широко образованный недочеловек! — с холодным бешенством думал Мерике-Люш. — Ты не способен к ненависти. Ненависть не разбирает. В комнате мороз, нет куска хлеба, мы лишили тебя всего, ты подыхаешь и все еще опасаешься сделать ошибки, недостойные мыслителя. Смешная и жалкая тварь! Такую мы сметаем, не замечая ее. Истреблять их всех, философов этих!..»

— Вы смотрите на мои книги? — спросил Глинский.

Да, Мерике-Люш невольно разглядывал стеллажи с книгами, которые тянулись вдоль всех стен. Он был в жилище интеллигента. Интеллигент всюду одинаков, под всеми широтами, считал Мерике-Люш. Такой Глинский в Германии обязательно угодил бы в концлагерь. Там бы его отдали в подчинение немудрящему парню-эсэсовцу с тяжелым кулаком. Такому парню плевать на ученость. Он заставил бы Глинского белить стену зубной щеткой. Подобная бессмыслица убивает строптивость. А строптивость рождается от ненужного обилия мыслей. Интеллигенты неисправимы. Они всё хотят знать. А послушному человеку полагается знать мало. Ему дают категорические решения, и он их не обсуждает. А интеллигент всегда готов обсуждать, искать свое решение. Только с послушными, нерассуждающими людьми мож-

но покорить весь мир, как определил фюрер. К чему столько книг? Это печатный сор. Девять десятых можно развесить в нужниках. Что нужно послушному человеку, который не рассуждает? Книга, по которой он учится читать, книга по своей профессии, книга фюрера, которую обязаны приобретать все новобрачные, занимательные истории в газетах, репродуктор с песенками и маршами. И этого хватит. А остальное... Духовная культура? Он, Мерике-Люш, скрипел зубами, когда слышал об этом. «Вы ученый осел!» — сказал он однажды в кафе интеллигенту, который робко сказал, что нацизм не должен отвергать духовную культуру. Он с наслаждением избил бы перепуганного человечишку, но в ту пору на это нельзя было решиться в публичном месте: после всего того, что происходило в первые месяцы 1933 года, высокие круги дали своим подчиненным приказ на время воздержаться от буйств.

— Будьте любезны, Ян Петрович, достаньте с третьей полки справа томик Гейне. Почитаем вместе...

— Простите, не надо ли вам отдохнуть?

— В самом деле... — Мария Федоровна забеспокоилась. — Ян Петрович извинит тебя.

— О, пожалуйста, пожалуйста, — ответил гость.

Глинский внимательно смотрел на гостя. В его глазах была усталость от болезни, но не было ни безразличия, ни тупой покорности угасания.

— Почему-то для общей характеристики немецкого народа авторы некоторых книг обязательно вспоминали о Фридрихе Великом, — сказал Глинский. — А что в нем было великого? В том, как он хамски бил берлинцев на улице тростью и при этом говорил: «Любить вы меня должны, любить!» Но это характеристика Фридриха. Почему переносить ее на всех немцев?

Не Глинского, а Мерике-Люша утомлял этот разговор. Он не мог собрать своих мыслей. Он ненавидел человека, лежащего на кровати. С наслаждением он приручит и унизит его, осмеет, смешает с грязью его идейки. Что за наглость! Полумертвец проявляет снисходительность к немецкому народу, он не всех немцев считает ответственными за то, что сделали нацисты. Он поучает его.

— Нет, Ян Петрович, пройдет время, и вы откажетесь от вашего взгляда. Никто из нас не перенесет нена-

висть к фашизму на весь немецкий народ. Сейчас нам очень тяжело. Но и сейчас наши люди не думают о том, чтобы истреблять тех, кто сложит оружие. Нет, наши люди росли с другими мыслями.

Когда Мерике-Люш улегся в соседней комнате (для него нашлись старая доха, ватник), он понял, что все его расчеты были бессмыслицей. Ему не приручить этих людей, он не заставит их служить себе. Глупейшая выдумка привела его сюда. Эта квартира может стать западнёй для него.

В разговоре с Глинским был момент, когда он вздрогнул.

Глинский говорил, что как ни мучительна жизнь в осаде, но каждый думает о том, чтобы возможно больше сделать для защиты города. Ему рассказали, что недавно к командованию артиллерийской части явились слепцы. Воевать им не дано, но у них исключительно чуткий слух. Акустические приборы могут ошибаться, но не слух слепорожденного. Так нельзя ли их определить на зенитные батареи? Они вовремя предупредят о приближении бомбардировщиков. «Представьте себе, — Глинский улыбнулся, — что об этом узнают там, в штабе у гитлеровцев. Могут сделать соблазнительный вывод. До того, мол, плохо в Ленинграде, что даже слепых призвали». И тут Мерике-Люш поежился. Он также узнал о слепцах и как эффектную новость передал сообщение по рации.

А ночью Мерике-Люш проснулся в сильной тревоге. Он зажег спичку, огляделся, закурил и стал с лихорадочной быстротой вспоминать о разговоре с Глинским, слово за словом. Сказал Глинский: «Бывал я у вас в Берлине» или это показалось? «У вас» или не было этого слова? Может быть, смутное подсознательное подозрение шевельнулось у Глинского, и он незаметно для себя высказал его? Смутное подозрение может вернуться и стать более отчетливым... Чем же он, Мерике-Люш, выдал себя? Или примерещилось, только примерещилось слово, таившее в себе такую опасность?

Мерике-Люш курил, перебирал все свои фразы. В комнате была густая тьма, ни звука не доносилось с улицы. Страх охватил его, такой страх, от которого можно сойти с ума. Да, приход сюда был ошибкой. Мерике-

Люш быстро оделся и ощупью, бесшумно вышел в коридор.

Он ушел, не дождавшись рассвета.

3. В старом парке

Машина свернула в Удельнинский парк и остановилась. Сквозь молодую листву припекало солнце. Доносился запах расцветшей черемухи. Было очень тихо. На полянах белели поздние одинокие ландыши с капелькой недавно прошедшего дождя, дрожавшей на продолговатых листьях. В кустах перекликались птицы, да шуршали на земле поднятые легким ветерком прошлогодние листья.

Ваулин и два бойца вели Мерике-Люша. Они углубились в сторону от дороги. Мерике-Люш часто останавливался, осматривался и говорил:

— Это было зимой. Я боюсь ошибиться. Теперь я не все узнаю здесь.

— Мы можем подождать, но вспоминайте точно, — отвечал Ваулин.

Нет, он все узнавал — каждое большое дерево, каждый пень. Он не забыл, что возле кустов, огибая камень, вьется ручей. Мерике-Люш помнил все приметы этого места и, идя сейчас под конвоем, не мог избавиться от воспоминаний, которые завладели им.

Вот он здесь, в пригородном лесу, куда выбросился с парашютом несколько месяцев назад. И здесь — конец его извилистого пути. Отсюда по прямой на запад всего несколько десятков километров до того места, которое также Мерике-Люш видит отчетливо, со всеми приметами фронтовой обстановки. Но могло ли тогда думаться, что так скоро и непоправимо оборвется его путь?

После долгих поисков возле старого дерева, вывернутого бурей, в яме нашли склад Мерике-Люша. Там лежали консервы, коробки с проржавевшими патронами, отсыревшие сухари, пачка взрывчатки, плитки шоколада и рация.

— Что вы отсюда взяли перед уходом?

— Компас, маскировочный костюм, продукты, мазь для лыж, — перечислял Мерике-Люш.

— А куда вы прятали брезентовый чехол, который носили поверх меховой куртки? Вас видели и без чехла,

— Я его прятал в мой рюкзак. Заходил в какой-нибудь пустой дом, отстегивал и клал в рюкзак.

— А усы у вас были накладные?

— Да.

Допрос продолжался вечером в кабинете Ваулина.

Мерике-Люш говорил медленно, словно ему надо было собраться с мыслями, и глядел в пол или в сторону, чтобы не встречаться взглядом с Ваулиным. Он вдруг попросил папиросу. Ему дали, но и курил он словно нехотя.

Ваулин глядел на этого сильного, с выправкой спортсмена, рыжеватого человека, и ему казалось, что Мерике-Люш весь сжимается, будто хочет сделаться незаметным и слиться с каменной стеной.

«Почему же он все-таки говорит? — подумал Ваулин. — Ведь он не может не знать, что спасения не будет».

И сразу же Ваулин понял это. Шпион заговорил потому, что у него нет больше сил молчать. Он, здоровый и сытый, не вынес жизни в осажденном городе. Город, где люди голодали, но держались, где без усилия нельзя было добыть даже глотка воды, где вымерзли дома и погас свет, смертельно пугал его. Он был чужой среди настороженных людей. Он боялся каждого и уже не мог больше сопротивляться своему страху. С первых же дней Мерике-Люш понял, что опасная жизнь была бесцельной. Ему все труднее становилось выносить острое напряжение. Он бродил, как волк, в огромном чужом и страшном для него городе, который готов был драться за каждую свою улицу.

Рацией ему разрешено было пользоваться только в самых крайних случаях. Он шел в парк, к вывороченному дереву, разгребал снег, в темноте прилаживал антенну. Порой в маскировочном костюме он просиживал у дерева всю ночь, согреваясь спиртом. Ответы по радио приходили лаконичные: «Ждать». Ему запрещали повторять вызов раньше, чем через неделю. Но разве можно было жить в этой неизвестности? Он нарушал строгий запрет. Тогда ему вовсе не отвечали. И в таком молчании содержалось строгое осуждение.

В декабре жизнь осажденного города стала еще тяжелее. Сколько раз он видел, как упавший на улице человек не мог сам подняться. И тогда Мерике-Люш думал, что его консервы, галеты, сгущенное молоко, масло

стали неотразимым оружием, которым можно сломить волю любого человека.

— В этом был ваш расчет?

— Да, в этом состоял мой расчет. Он мне казался безошибочным. Если голодающему показать еду...

— И потому вы решили поселиться у Глинских?

— Да, потому.

Однажды в декабре Мерике-Люш, придя в свой склад в парке, обнаружил, что аккумуляторы садятся. Его охватил ужас. У него была педальная машинка для зарядки, но сломался стержень. И негде было сварить его. Зарядить аккумуляторы нельзя. Если он пойдет с ними в город или попытается сварить стержень, то неминуемо попадется. Еще несколько дней — и порвется нить между ним и теми, кто его послал сюда.

— Кажется, я неосторожно вел себя в последние дни?

Сказав об этом, Мерике-Люш внимательно посмотрел на майора Ваулина, но ничего не прочел в его взгляде.

Да, он вел себя неосторожно, он торопился, очень торопился. Если бы можно было десятью годами жизни заплатить за то, чтобы немедленно выбраться из осажденного города, он ни минуты не колебался бы. Он был так издерган, что не мог уснуть без наркотиков. Каждый день, пока возможно было, он в парке прилаживал антенну и связывался со своими. Он умолял, чтобы ему позволили вернуться.

Об этих панических последних радиограммах майор Ваулин знал. Они были перехвачены и прочтены, несмотря на новый шифр. Оставалось искать тайную рацию шпиона, который пользовался ею. И Мерике-Люша искали. Быть может, он почувствовал это, по-звериному.

И вот аккумуляторы окончательно сели. Тогда он сказал себе, что надо выбираться. Но выбираться он решил не с пустыми руками. Если он принесет материалы Снесарева, то заслужит полное прощение. И Мерике-Люш взялся за дело. Он установил, что Снесарев болен и один лежит дома; следил за девушкой, которая ходила к нему. Ему казалось, что с больным будет легко сладить.

Как он думал уйти? Сначала на лесные разработки — туда набирали желающих. Мерике-Люш считался с тем, что о жителе Пскова Кайлисе, возможно, узнали. И вот

появился житель города Острова. С лесных разработок он на лыжах дойдет до Ладожского озера. В сумерках спустится на лед, наденет маскировочный костюм и направится в сторону финского берега. И все это ему удалось.

4. Следы остаются...

И вот, обмороженный, падающий с ног от смертельной усталости, добрался он до финского берега. Представители германской разведки в Финляндии встретили его без всякой радости. Он уже считался неудачником. Мерике-Люш доложил о своих наблюдениях. Ему сказали, что в них нет ни нового, ни интересного. Потом он имел беседу с одним из начальников не очень высокого ранга — высокие начальники уже не интересовались неудачником. Мерике-Люш признал, что в его прежнюю оценку военного потенциала осажденного Ленинграда придется внести поправку.

— Она внесена и без вас, — назидательно сказал начальник. — Это было сделано еще до вашего счастливого возвращения.

Мерике-Люш понял, что его участь решена. От него уже не ждут многого, продвижения по службе не будет. Начальник — новый для него человек — был вежлив, но неумолим.

— Значит, бедствия осады не уменьшили силы сопротивляемости?

— Нет.

— Но раньше вы утверждали обратное.

— Я не сразу пришел к такому выводу.

— Это плачевный результат вашей небрежной работы...

Мерике-Люш не рассказывает Ваулину о своих обидах, о том, как беседу с ним вдруг обрывали коротким возгласом «Хайль!» Это означало, что он должен вскочить, как от толчка, выбросить руку, повторить возглас и тотчас уйти. Он часами ждал приема, для того чтобы продолжить доклад. С ним нисколько не церемонились. То, что он едва не погиб, то, что пришел обмороженный и потом долго лечился, — все это не вызывало сочувствия к нему. В Германию его не пустили. До весны он без дела сидел в Финляндии. Весной о нем неожиданно вспомни-

ли. Он все же считался специалистом по блокадному району. В штабе возник план захвата малых островов, лежащих вблизи Гогланда. Зимой русские едва не пробились к самому Гогланду. Оттуда они могли угрожать берегам Финского залива, коммуникациям. Захват малых островов — вот что могло оградить Гогланд. Если острова окажутся в руках германского командования, можно будет перенести минные поля почти к самому Кронштадту. В первые дни весны советская подводная лодка пробралась в Балтийское море. Это было крупной неприятностью. Минные поля, придвинутые ближе к Кронштадту, перегородят дорогу советским подводным лодкам.

Несколько раз Мерике-Люш выходил в море и вылетал в воздушную разведку. Потом был назначен пробный выход новой быстроходной десантной баржи на Гогланд. С такими десантными баржами предполагалось захватить и Лавенсаари и Сейскари. Пробный переход оказался роковым.

«У них есть что-то новое», — успел сказать на десантной барже финский моряк, убитый в следующее мгновение осколком снаряда.

Да, это было что-то новое! Маленький корабль, легко и свободно маневрируя, вел губительный огонь.

В те минуты, когда из пригородного парка Мерике-Люш посылал безмолвное проклятие людям, с которыми уже не встретится, он понял, что неожиданной новинкой русских могла оказаться и конструкция Снесарева, которую Мерике-Люш условно для себя назвал «морским танком». Он пытался овладеть секретом. Задача оказалась непосильной. Но он был на верном пути, начав следить за Снесаревым.

Да, неудача. Он оставил следы, которые сумел разглядеть этот майор. Но других следов он не оставит. Ни слова не скажет ни о том проходимце, который был переброшен под видом раненого в Ленинград, ни о старике Мурашеве. Никто не узнает о Трубачеве, который, вероятно, бежал в тыл — от голода, от своего прошлого, от требовательного негласного начальника. Пусть сами ищут. С ним покончено, но важную тайну он унесет с собой.

...У Ваулина оставалось еще несколько вопросов.

— Что вы впрыснули Снесареву?

— Патентованное средство. Сон наступает через несколько минут.

— Когда вы хотели снова прийти к Снесареву?

— Рано утром.

— Зачем?

— Продолжить разговор. После такого сна наступает ужасный голод.

— А вы унесли последний кусок... Но если бы он выдержал этот... разговор?

Мерике-Люш молчал.

— Вы бы убили его?

— Я был твердо уверен в том, что он не выдержит.

— Но вы бы сделали это? Вы знали, что Снесарева навещают. Как поступили бы вы, если бы рано утром встретили девушку, которая его навещала?

И снова Мерике-Люш, говоривший до того много и даже с некоторым оживлением, сжался, чтобы стать меньше, незаметнее, словно опять хотел уйти в стену.

— Зачем вы унесли фотографию Снесарева?

— Фотография военного конструктора всегда может пригодиться разведке.

Ваулин понял, какой смысл хотел вложить в свои слова Мерике-Люш. Да, шпион всерьез надеялся на то, что Снесарев станет его агентом. И эта фотография как бы документ, который закрепит обязательства, улика, которая может быть использована, если в дальнейшем агент поколеблется.

Изворотливый, опаснейший человек, многоопытный в своем подлом деле, всегда с тысячей хитростей наготове, сидел по другую сторону стола. Но в одном фашист был слеп. Он не видел, не мог понять, что Снесарева не купить и не сломить. На этом кончалась изворотливость шпиона, дальше шла безграничная самодовольная тупость.

— Моя игра проиграна, — сказал Мерике-Люш, проводя забинтованной рукой по глазам. — Снесарев оказался прав. Мне не уйти из города.

Но Ваулин понимал, что в чем-то Мерике-Люш продолжает игру.

— Я проиграл, — повторил Мерике-Люш. — Но скажите, как вы напали на мой след?

— Не забывайте, я веду допрос, а отвечаете вы. Скажите, как вам удалось открыть дверь в квартиру Снесарева?

— Открыть дверь частной квартиры... Разве это так сложно?

— Вы открыли ключом?

— Я подобрал ключ.

— А не отмычкой?

— Я хотел сказать — отмычкой.

— Хотели сказать? Вот она... — Ваулин вынул отмычку из ящика и положил ее на стол.

— Я ее, наверное, уронил, когда увидел, что на площадке лестницы кто-то стоит.

— Куда же вы побежали потом?

— В соседний двор. Там никого не было. Я спрятался в подвале. Переждал.

— Где вы взяли эту отмычку?

— У меня было много отмычек. Несколько штук я взял с собой.

— Те, которые подходят к наиболее распространенным образцам дверных замков?

— Совершенно правильно.

— И эту?

— И эту.

— Значит, уронили отмычку и побежали?

— Я уже сказал.

— И больше вы ничего не уронили?

— Нет, ничего.

— Осторожность вам изменила.

— Случайность такого рода всегда может..., — начал Мерике-Люш.

Но Ваулин быстро его перебил:

— А откуда взялось вот это?

Он вынул из ящика стола крышку от маленькой эмалированной кастрюльки.

Мерике-Люш внимательно оглядел ее. И раньше, чем он ответил на вопрос, Ваулин почувствовал, что крышку Мерике-Люш видит впервые.

— Не знаю. Со мной такой вещи не было.

— Ее также нашли внизу.

— Не знаю. Ничего не могу сказать о ней.

— Допустим. Но вы утверждаете, что отмычку привезли с собой?

— Я устал повторять.

— Ну, от этого еще не устают. Вы просто не хотите говорить правду!

— Я вам все сказал.

Мерике-Люш на мгновение закрыл глаза.

— Вы твердо помните насчет отмычки? Она действительно была у вас с первого дня?

— Да, с первого дня. Если вам нужно, чтобы я повторил, я повторяю... Она была у меня в мешке, когда я спускался на парашюте в этот... загородный парк.

Ваулин встал:

— Мерике-Люш, вы лжете! И снова без всякой пользы. Сейчас один человек вам скажет об этом — ваш человек... Введите Мурашева, — попросил он солдата.

Дверь открылась. Мерике-Люш откинулся на спинку стула. Старик, стоявший на пороге, глядел на него ненавидящими глазами.

— Это... — прошептал Мерике-Люш.

Старик шагнул вперед, поднял руку и сказал хриплым, дрожащим голосом:

— Не забыл? Будь ты проклят, проклят!.. Ты что?.. Ты что?..

Мурашев хотел крикнуть: «Ты что обещал мне?», но в ярости не подыскал слова.

Это была последняя встреча. Много лет ушло с тех пор, как их свели для разговора в доме германского генерального консульства возле Исаакиевского собора.

5. Тройной камуфляж

На другой день Ваулин пригласил Снесарева заехать к нему. Предстояла очная ставка с Мерике-Люшем.

В тот далекий вечер больной Снесарев не мог отчетливо разглядеть незваного гостя — он прятался в полутьме. Но шпион казался ему крепким человеком. Другим Снесарев не мог себе представить его.

— Узнаёте? — спросил Ваулин Мерике-Люша.

— Узнаю. Это инженер Снесарев, — прошептал шпион.

— А вы, товарищ Снесарев?

Снесарев развел руками и не сразу ответил. Не мог же Мерике-Люш быть таким в тот декабрьский вечер. Такие люди не спускаются на парашюте, не проникают тайком в осажденный город.

Перед Снесаревым стоял сгорбленный, осунувшийся

человек с потухшим взглядом, лишившийся всех чувств, кроме одного — страха.

Когда шпиона увели, Снесарев сказал:

— Тогда он стоял в тени. Я его не видел. Давно он переменился?

— Совсем недавно. Когда его привели сюда, он в первые минуты держался надменно. И знаете, что ему помогало? Выстрелы.

— Какие выстрелы?

— Вражеские. Я начал допрос, а гитлеровцы начали обстрел города. Мне пришлось посадить гостя подальше от окна. Один снаряд разорвался совсем близко, и Мерике-Люш, который в ту минуту еще назывался Польницем, презрительно усмехнулся. Но надменности хватило ненадолго. Вскоре он сдал и с каждым днем сдавал все больше и больше. Остался только страх, ну и, конечно, злоба.

Ваулин открыл коробку, полную желто-янтарного табаку, достал книжечку папиросной бумаги.

— Прошу. С Большой земли подарок прислали. Аромат такой, будто сидишь по крайней мере в Сухуми. Когда мы с вами там будем, а?

— Страх и злоба? — повторил Снесарев. — Только это? Но была же у него смелость.

— Смелость игрока, который делает верную, безопасную для себя ставку. А она оказалась весьма рискованной. И он не выдержал жизни в осаде. У него не оставалось признаков того, что можно считать настоящей смелостью. Шпион сделал несколько ошибок. Это потому, что у него пропала прежняя собранность. Он петляет. Нет больше жителя Пскова, а есть житель Острова. В другой обстановке, более привычной для него, он нашел бы вариант поумнее. А тут подстегивал страх. Даже рюкзак заграничного образца с пружинкой был заметной ошибкой. Это были следы, которые нам предстояло прочесть. Все дело в той жизни здесь, которую он не мог представить заранее. Не мог понять. И ему не обойтись было без промахов. Спасла его только случайность, да и то лишь на время. Что двигало им раньше? Инерция наглости, что ли, тупого сознания своего превосходства над всеми. Настоящей смелости без глубокой убежденности в своей правоте не бывает! Ваши строители — те по-настоящему были смелы!

— Да, но ведь он рисковал, когда шел ко мне.

— Все то же. Риск шулера, игрока, играющего наверняка.

— Но он рисковал снова и еще больше. На следующее утро. Представьте себе. Даже взяться за ручку той самой двери, войти в подъезд — какого напряжения это требовало! Еще минута — и матрос его схватил бы.

— Нет, не схватил бы его матрос.

— Почему?

— Потому что он перестраховал себя. Внизу притаился сообщник.

— Но кто же?

Вместо ответа Ваулин протянул Снесареву маленькую фотографическую карточку.

— Узнаёте? Вглядитесь, пожалуйста, внимательнее. Правда, фотография довоенная. Я бы мог не беспокоить вас по этому поводу — все уже выяснено, — но у меня будут потом другие вопросы.

— Совсем обыкновенное лицо. Не помню, чтобы встречал его.

— Лицо, верно, обыкновенное. Но злобы этот человек был необыкновенной, самой свирепой. Не мог простить новому миру того, что лишился своей мельницы и крупорушки. Он-то и сообщил Мерике-Люшу о вас, о вашей работе над новым типом корабля.

— Как он мог узнать о ней?

— Значит, вы не видели его в заводской проходной?

Снесарев развел руками:

— Не обращал внимания...

— Он там стоял вахтером. Целых четыре года до войны. Впрочем, в то время он еще ничего не предпринимал. Ему было приказано выжидать и изучать. Перед началом войны он получил рацию, а когда начались обстрелы города, стал корректировать.

Снесарев порывисто поднялся с места:

— С завода? С территории завода?

— Да... В ноябре на парашюте спустился Мерике-Люш. И вот Мурашев рассказал ему о работе инженера Снесарева.

— Погодите! Минутку! Мурашев? Высокий, в черной куртке?

— Ну, это не очень редкие приметы.

— Но он прибежал тушить пожар!

— Прибежал.

— Теперь я его вспомнил. Погодите, погодите... Но я видел, как он в столовой, кажется в декабре, просил добавить ему супу. Он очень исхудал. Что же, Мерике-Люш не кормил его?

— К чему? Ведь это заарканенный зверь. Мерике-Люш ни крошки на него не тратил из своих ресурсов. Он мог помыкать им и без того. Но все-таки Мурашев был тонкая штука. И если говорить о природном уме, то умнее, чем его начальник. Найти его было не так-то просто. Помогла отмычка. Утром на другой день не он, а Лабзин приходил к вам. Мурашев послал его, чтобы проверить, все ли спокойно, а Мерике-Люш спрятался в подвале соседнего дома. Лабзин взял на всякий случай в столовой маленькую кастрюльку с кашей, чтобы сказать, что несет вам еду. Но, когда сверху его окликнул матрос, он испугался, побежал и уронил отмычку и крышку от кастрюльки. Мы изучали эту отмычку и установили, что она сделана здесь. Стало быть, у Мерике-Люша есть помощник? Потом уж мы узнали, что отмычку тайком мастерил Мурашев у вас на заводе.

— И этот самый Мурашев корректировал, иначе говоря — наводил на нас огонь немецкой батареи?

— Да, Мерике-Люш исчез, а Мурашев остался. По имени мы его еще не знали, но о том, что такой корректировщик есть, можно было догадаться.

— А ведь он едва не погубил нашу работу.

— Он не каждый день орудовал. Не было у него возможности все время сидеть у рации. Помните ночные воздушные тревоги?

— Помню.

— Гитлеровцы в то время в воздухе почти не показывались. В городе тревог не было. Только на вашем заводе объявляли их по ночам. Однако бомб с самолетов не бросали.

— Но «Юнкерс» завывал. «Юнкерс»! Я сам слышал.

— Это был не «Юнкерс», а наш самолет. И наш летчик, недовольный заданием. Он предпочел бы дневные бои.

— Но характерный звук мотора... Гудящий, прерывистый, зловещий, угрожающий...

— Да, на самолете стоял немецкий мотор.

Снесарев слушал, стараясь не проронить ни слова.

— По вашему лицу видно, что вы близки к разгадке. Две ночи завывал этот «Юнкерс» в двойных кавычках. Он вызывал Мурашева на свидание. Мы опасались, что неизвестный нам помощник Мерике-Люша не явится на свидание. И в первую ночь он действительно не явился. Потом оказалось, что ночевал он в городе. Но на другую ночь свидание состоялось. Очень уж велик был для него соблазн. Зачем каждый день рисковать у рации, когда он сразу мог разделаться с вашим новым кораблем? Поднялись ракеты — и Мурашев был пойман.

— И все-таки я многого еще не понимаю, — в раздумье произнес Снесарев.

— Спрашивайте.

— Спрашиваю. Прежде всего — о цехе «А»?

— Этого вопроса я и ждал.

— Осенью его разбомбили, а в марте засыпáли снарядами. И цех и подходы к нему. Чуть не каждый день.

— И методично. Не правда ли?

— Методично? Это было дикое, бессмысленное занятие. Да, если угодно, была некоторая методичность в бессмыслице. Но можно ли объяснять все это случайностью? В чем же дело?

Ваулин, улыбаясь одними глазами, посмотрел на Снесарева:

— А дело в том, что у нас был пульт управления огнем противника.

— Пульт управления?!

— Название, разумеется, условное. Надо было управлять огнем вражеской батареи. Надо было отвести опасность от вашего цеха, чтобы защитить вашу работу. Это и удалось сделать.

— Но как же удалось?

— Решение оказалось простым. Рация провалившегося шпиона-корректировщика осталась. Позывные были известны. С помощью рации, от лица мнимого корректировщика, который все еще существовал в представлении немцев, им давали ложную цель: метров на двести — триста в сторону от вашей площадки. Вы помните, что иногда в спокойные часы над старым разбитым цехом возводился камуфляж?

— Ну, еще бы...

— Довольно, впрочем, наивный камуфляж. Но, если

есть декорация, значит, она что-то скрывает. Это была приманка для воздушных разведчиков противника. Они, можно предположить, доносили, что в том месте, куда бьют орудия, действительно есть что-то важное, прикрытое декорацией. Таким образом, данные корректировщика заслуживали доверия. Пилоты-наблюдатели подтверждали его донесения.

Снесарев в волнении ходил из угла в угол.

— Позвольте... — Он не досказал.

— Понимаю. Извлекаете из архива новое воспоминание. Какое?

— Однажды перекрыли огнем подходы к нашему цеху, но в самый цех не попали.

— Знаю об этом.

— И мы сидели как взаперти. Надя хотела к нам пройти и чуть не погибла. Но ведь тут чуть-чуть влево — и прямое попадание в цех.

— Ну они нередко ошибались. И у Мурашева не всегда была возможность их поправить.

— И тогда-то этот трус Лабзин отправился к нам из столовой с термосом!

— За ним водилась не только трусость. Он был подручным Мурашева, из их шайки. Но я слышал, будто в столовой он работал честно.

— Об этом все говорили.

— В прошлом у него было три судимости за воровство. Он скрывал их, бегал из города в город. А Мурашев узнал, припугнул и постепенно приручил. Он не воровал у вас в эти голодные месяцы, потому что мог попасться. Мурашев запретил ему рисковать. Он был заинтересован в том, чтобы Лабзину доверяли. Лабзина посылали на разные работы. Одно время он даже помогал Пахомычу монтировать станцию. Это также устраивало Мурашева. Что бы Лабзин ни делал, куда бы он ни ходил, все было известно круподеру. Как видите, Лабзину верили.

— Я помню, как этот Мурашев просил у Лабзина в столовой супа.

— И тот отказал? Разыгрывали представление.

— Но как был убит Лабзин?

— Его пристрелил Мурашев. Он не хотел оставлять живого свидетеля. Когда после ракет за ними погнались, Мурашев пропустил его вперед и выстрелил в спину. Ду-

мал, что Лабзиным займутся, а сам он тем временем скроется. Но обманулся в расчете. Он еще пробовал отстреливаться на льду, но не сумел — схватили. Ну, а главного преступника сюда доставил корабль конструкции Снесарева. И здесь можно поставить точку.

— Поставить точку этой истории? Мог ли я думать, что в ней столько сложных ходов?

— В сущности они были довольно просты. Потребовался тройной камуфляж: мнимый корректировщик, мнимый «Юнкерс», декорация, которая сама себя разоблачает под взглядом пилота, даже неопытного.

— А знаете, — засмеялся Снесарев, — ведь нашу безопасность связывали с необыкновенным даром угадчика снарядов. Это Ганька, племянник Пахомыча.

— Вот как! Угадчик шестого разряда! — засмеялся и Ваулин. — А парнишка действительно чуял, куда летят снаряды. Полезный парнишка!.. Рассказал я вам все это потому, что надо подумать, как дальше организовать работу. Без конца отводить огонь на руины нельзя. Сейчас немцы в дураках, но они могут догадаться. Они еще стоят у городских ворот. Ведь вы же будете строить эти корабли?

— Конечно, будем! Даже перейдем на серию. У нас уже есть достаточный опыт. И люди крепче, чем зимой.

— Флот ждет ваших кораблей. Очень ждет! Когда они в строю, у флота меньше скованности. Нынче летом борьба разгорится на Кронштадтском плесе. Несомненно, будет так.

— И еще один вопрос: кто был летчик, который ночью появлялся над нами?

— Ответ будет печальный. Летчик, в то время старший лейтенант Самохин, а позже капитан Самохин, недавно погиб в дневном воздушном бою.

С улицы донеслось завывание сирены. Ваулин выглянул в окно. На крыше дома через улицу стояли наготове скорострельные зенитные орудия с обоймами снарядов в поблескивающих на солнце медных гильзах.

— Опять завывает! Очередной весенний визит. Спустимся в убежище. Там побеседуем. Поговорим о кораблях. У меня, как у многих сухопутных людей, повышенный интерес к ним. Так пойдемте, переждем.

С резким грохотом дали первый залп скорострельные зенитки на крыше.

6. Дом на бульваре

Рано утром Снесарев вышел из дому. Впереди был свободный день. Уже было два или три таких дня, с тех пор как спустили корабль, и Снесарев никак не мог привыкнуть к ним. Он бродил по заводу, заходил в пустые цехи, осматривался. Теперь, когда здесь не было шума и движения, цех представлялся ему как огромный макет. И инженер видел, что много еще старины в этом макете. Конструкции менялись, темпы становились другими, но распорядок работы казался незыблемым. Вот этой мнимой незыблемостью и предстоит заняться, когда окончится война.

В прошлое воскресенье Надя позвала Снесарева на огород. На пустыре они, очистив землю от сора, вскопали две грядки. Предполагалось посадить редиску, картофель и неизвестное прежде Снесареву растение кольраби, которое предохраняет от цинги.

— Кольраби? Никогда не слыхал. Это он, она или оно?

— Он, она или оно, но варится пять часов, — сообщила Надя.

— Ну, в таком случае я сейчас выдергаю его или ее! — с досадой сказал Снесарев. — Это не про нас, блокадников. Пять часов! Не набраться ни керосина, ни терпения. И зачем вы раздобыли это кольраби?

— Нет, не выдергаете. Не позволю, Василий Мироныч! Будем варить в столовой. А впрочем, его можно есть и в сыром виде — поструrать на терке.

— Представляю себе, какая гадость!

— Вы смелый конструктор, а в быту, в привычках консерватор. «Гадость» очень пригодится.

Городу предстояла трудная зима, но не столь бедственная, как прежняя, — без голодных смертей, без очередей у проруби на Неве, без необходимости что ни день, что ни час привыкать к новому суровому ограничению. Теперь устанавливалась своя жизнь, тревожная и трудная, но человек осажденного города уже мог оглядеться в ней. Он готовился ко второй блокадной зиме, он вернулся в свое жилище, он вышел на свой огород.

Надя быстро рыхлила землю, просевала ее, складывая в сторонке затвердевшие комки, обломки кирпича.

— И когда это вы так наловчились? — удивлялся Снесарев. — Действуете как заправский огородник.

— Давно. С десяти лет. Мы с мамой всегда вскапывали на даче огород. Каждый житель города должен уметь это. Не люблю увальней, которые и лопату не умеют держать.

Кудрявые завитки падали Наде на лоб, она отбрасывала их назад резким движением, не прерывая работы, которая так спорилась у нее.

— С каждым днем я узнаю в вас новое и уважаю вас все больше и больше! — шутливо сказал Снесарев. — До какой же степени это дойдет?

Надя воткнула лопату, оперлась на нее и вполне серьезно спросила:

— А было время, когда вы во мне не искали нового и не уважали меня?

Снесарев слегка покраснел и ответил без всякой шутливости:

— К сожалению, такое время действительно было, Надя! Приходится признать.

И опять оба почувствовали, что общее воспоминание связывает их.

Добрая часть пустыря была уже обработана. Свои грядки вскопали и Агния Семеновна, и Погосовы, и Пахомыч. На колышках виднелись фанерные квадратики с именем огородника.

Работая, Надя и Снесарев невольно оглядывались на дот, который поодаль грузно поднимался над землей. Его поставили прошлой осенью. Считалось, что если дело дойдет до уличных боев, то здесь могут показаться вражеские танки. Заводские огородники шутили, что их грядки под надежной защитой. Но теперь шутку нельзя было повторить. Два дня назад к вечеру на своей грядке возле самого дота была настигнута осколком снаряда старая женщина. Так и осталась на том месте веревка на колышках, протянутая старой женщиной, и фанерный квадратик.

Сегодня Снесареву не надо было на пустырь. Он не торопясь отправился в город. Впервые с начала блокады Снесарев видел город утром в спокойный час. Он шел по набережной Невы и никого не встречал. У берегов стояли военные корабли, трубы не пáрили. Снесарев миновал мост. Отблески солнца поднимались по медной

обшивке Исаакиевского купола. Он шел дальше к другому мосту. За оградой сада виднелись статуи, покрытые стальными колпаками.

Город блистал чистотой, словно вымыли его обильные росы. Месяц прошел с тех пор, как он преобразился. Истощенные голодом люди убрали его так же заботливо, как убирают свое жилище. На листах фанеры, заменившей полозья, они свезли к рекам сор. Нева унесла и этот сор, и метровые пласты бурого обледеневшего снега, выросшие на улицах. Всюду было тихо, очень тихо. Но опустевший город стоял настороженным, готовым отразить удар. Из угловых домов на перекрестки глядели бойницы. На площадках возле гранитных ступеней, спускавшихся к воде, на проводах висели металлические цилиндры. Во время налетов они заволакивали мосты дымовой завесой.

Снесарев свернул в боковую улицу, где давно не бывал. Он присел на ступеньки крыльца, прогретого солнцем, достал письмо, полученное вчера, и стал снова читать его. Жена рассказывала ему о жизни в далеком городе, о Людмиле, о людях, с которыми она уехала вместе.

«...Мы живем в маленьком саманном доме, окно выходит в степь. Она зазеленела, а потом, говорят, станет бурой. На стене висит фотография — ты с Людмилой. Людмиле кажется, что прошел не год, а много-много лет. Дети не знают счета времени. Людмила мне говорит, щуря глазенки: «А папка наш там стал старенький, старенький, как тот старик, в халате, видишь?» А старику лет восемьдесят, не обижайся. Если бы увидеть тебя сейчас! Иногда я на минуту закрою глаза, и чудится, что ты рядом, что ты сейчас войдешь. Иногда мне кажется, что ты пережил что-то особенное. Но разве можно себе представить твою жизнь теперь!..»

Снесарев сложил письмо. Ему вдруг захотелось еще раз побывать там, где он часто гулял с Людмилой. Но где же это? Он стал припоминать. На бульваре этот дом, недалеко от Адмиралтейства.

Снова Снесарев шел по безлюдным улицам и слышал свои шаги. Показался бульвар, залитый солнцем, с деревьями, покрытыми негустой листвой. С левой стороны видна длинная вереница троллейбусов. Покрышки осели, давно из них вышел воздух. Троллейбусы остановились, когда в городе не стало света, и стоят, как те вагонетки

во дворе завода, которые не довезли металл в цех и вмерзли в снег на всю зиму.

Вдоль этих деревьев Людмила гоняла палкой плоский деревянный обруч, и лента падала у нее с волос. Вот дом, небольшой, старинный, бюсты двух негров в чалмах стоят над раскрытыми воротами. У одного бюста отбит кусок, гипс обнажился — в него попал осколок снаряда.

В палисаднике работал пожилой человек. Снесарев вошел в ворота. Ему не хотелось быть одному.

— Что вы будете сажать? — спросил он пожилого человека.

— Сажать? Нет, я разравниваю площадку. Сюда приходят играть дети из соседних домов. На бульваре играть опасно. А здесь все-таки не так. — Он указал на резную решетку. — Хоть немного защищает.

— Вы здесь живете?

— Здесь. Один во всем доме.

— Один во всем доме?

— Все выехали. Кто в армии, кто в тылу. И живу, и управляю домом.

— И управляетесь?

— Что поделаешь... Но трубы зимой сберег...

— Вам пишут?

— Два сына пишут. Оба флотские. Писали мне и матери, теперь мне одному...

— Хотите, я помогу вам?

— Отчего же. Прошу, прошу. Сейчас принесу лопату. У меня еще одна есть.

Они долго разравнивали площадку в палисаднике, где играть было не так опасно, как на улице. После работы они закурили и стали думать вслух о тех днях, когда вернется Людмила, зажгутся огни на улицах и в окнах и вернутся сыновья.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ШЕСТАЯ ГЛАВА

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Марвич Соломон Маркович

СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

Ответственный редактор И. М. Кассель. Художественный редактор Н. Г. Холодовская. Технический редактор Р. И. Прозоровская. Корректора Е. С. Карташова и А. Б. Стрельник.
Сдано в набор 24/II 1960 г. Подписано к печати 14/V 1960 г. Формат 84×108$^{1}/_{32}$ — 6 печ. л. = 9,86 усл. печ. л. (10,23 уч.-изд. л.). Тираж 215 000 экз. А05368. Цена 4 р. 05 к.
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 3278.


Цена 4 р. 05 к.


С. МАРВИЧ
Сигнал бедствия